

Зимнее солнцестояние



Борис ХАЗАНОВ

Борис ХАЗАНОВ

Зимнее солнцестояние

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

КОЛЛЕКЦИЯ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ



ИСТОРИЧЕСКАЯ
КНИГА

Борис ХАЗАНОВ

Зимнее солнцестояние

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2017

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
X 152

Хазанов Б.

X 152 Зимнее солнцестояние. – СПб.: Алетейя, 2017. – 208 с. –
(Серия «Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы»).

ISBN 978-5-906860-77-4

Компания немолодых соотрапезников проводит поздний вечер за стаканом вина, вспоминая о встречах с женщинами. Автор книги, бывший врач, рассказывает о происхождении рода, к которому он принадлежит, и размышляет о литературном ремесле. Таковы темы и мотивы сборника новелл и эссе – новой книги известного русского писателя, живущего в Германии.

Вторая часть книги представляет собой собрание коротких текстов – рассказов, эссе, мемуарных заметок, написанных в разные годы на родине автора и за рубежом.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

*На обложке фото Б. Хазанова
работы Вл. Шубина*

ISBN 978-5-906860-77-4



9 785906 860774

© Б. Хазанов, 2017
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2017

**ЗИМНЕЕ
СОЛНЦЕСТОЯНИЕ**

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. АЛЬБОМ

Повести, рассказанные за столом

От автора

«Человек — это его поступки» — формулирует Сартр основание некогда модной экзистенциалистской философии, которой и я одно время увлекался.

«Человек текуч», — замечает Лев Толстой.

«Каждый человек — загадка», — говаривал Достоевский.

Загадкой, точнее, непостижимой и дразнящей тайной было для меня с юных лет — да, пожалуй, остаётся и до сих пор — поведение всякой молодой девушки. Это не значит, что сама она вполне сознаёт мотивы своего поведения. Такая, какая есть, думает она. Но что-то, вероятно, подсказывает ей, что кажущаяся непоследовательность её поступков лишь придаёт ей больше очарования.

Повести (или новеллы), составившие этот цикл, по большей части написаны, как водится, от имени и лица мужчины, лишь в одном случае слово предоставлено женщине. В целом замысел подсказан памятью (не обошлось и без выдумки), и амбициозным намерением понять женщин, с которыми в разные годы сталкивали автора житейские обстоятельства. Разгадать некий шифр. Вот в чём автор видел свою задачу.

2016

НЮРА ПРИВАЛОВА

То было раннею весной...

А. К. Толстой

Разговор, как всегда, полыхал о политике, о Ближнем Востоке, но почему-то потух, спорящие умолкли — тихий ангел пролетел. Возникла идея рассказывать эпизоды из жизни. Или (добавил кто-то) сны.

«Сны? — возразил один из присутствующих. — Сны забываются... Есть тут ещё? — спросил он и, настигнув на столе бутылку,

плеснул себе в бокал остаток честного божоле. — Видите ли, надо отличать воспоминание от памяти. Сон может запомниться и потом повториться; вспоминая о нём, ловишь себя на том, что вспоминаешь собственное воспоминание, а не то, что когда-то привиделось. В конце концов сновидение становится частью твоего прошлого, и уже непонятно, было ли это на самом деле или придумано тобою самим. Но, клянусь вам, то, что осмелюсь вам поведать, случилось на самом деле, хоть и похоже на сон».

Слушатели изобразили преувеличенное внимание.

Он продолжал:

«В сущности, совершенно незначительный эпизод, будете разочарованы. Но, знаете, — рассказчик сделал основательный глоток, — до сих пор стоит у меня перед глазами, а ведь сколько времени протекло, дай Бог памяти? Шестьдесят лет, не больше и не меньше».

«Представьте, — сказал он, — еврейского подростка, тощего и носатого, всклокоченного, живущего в мире книг, представьте себе подростка, едва успевшего очнуться от великого сна своей жизни — детства. А на дворе апрель, та самая, ещё ранняя весна, о которой говорит граф Алексей Константинович Толстой, любимейший мой поэт... Только эпоха совсем другая. Идёт война. Живём далеко от фронта в эвакуации, в нынешнем Татарстане. Каждое утро радио за дощатой стеной барака, где ютится персонал районной больницы, вещает сводку военных действий. Одна победа за другой, уничтожено столько-то вражеских самолётов, подбиты танки, захвачено вооружение, минувшей ночью союзная авиация бомбардировала Эссен, Дортмунд, Дуйсбург... Всё обстоит как нельзя лучше, и всё-таки невозможно не догадываться, что дела наши неважные... Да о чём тут толковать, вы и так всё помните».

Рассказчик обвёл глазами компанию.

«Теперь надо бы описать место действия. Так сказать, кулисы. Природа вокруг чудная. Могучая река неспешно катит свои воды, за ними, вдоль пологого берега и чуть ли не вровень с ним тянется просёлочная дорога, уже просохшая, а позади, если шагать от села до больничного посёлка, теснятся поросшие лесом холмы. Леса, говорят, доходят отсюда до самой Удмуртии».

«Так вот. — Он помолчал с полминуты. — В этот день я возвращался из школы. Шёл, шёл и остановился, словно кто меня позвал. Свернул зачем-то к неглубокому оврагу. швырнул портфель и взбежал на лесной пригорок.

И вот — является мне дивное привидение... Кто-то в белом промелькнул между деревьями по ту сторону овражка».

Подросток не верит глазам своим, не доверяет счастью, мгновенно скатывается вниз, взбегает вверх — к ней.

«Да, хотите верьте, хотите не верьте: это была она. Нюра Привалова в белом платье с бретельками на голых плечах и кружавчиками на груди. Собственно говоря, не в платье, а в ночной сорочке, несмотря на прохладу. Нюра была медсестра, и было ей, если не ошибаюсь, девятнадцать. Она казалась мне неопишимо красивой, небесной.

Конечно, она была вполне заурядная, обыкновенная девушка с жемчужно-серыми глазами, по-крестьянски плотно сложенная, с негустыми волосами цвета калёного лесного ореха, — тип женщины, характерный для этих мест.

Она стояла передо мной в прозрачной тени, и мы оба молчали.

«Нюра, — сказал я, — вы меня любите?» Она опустила глаза и ничего не ответила.

«И это всё?» — спросил кто-то.

Рассказчик пожал плечами, развёл руками.

ФАЯ КРАВЕЦ

Никого не было. Ни звука в коридоре. Серый зимний день сочился в окно. Он — удобней будет говорить о себе в третьем лице, как если бы я одолжил память у кого-то другого, — он сидел над учебниками, когда послышался шорох, кто-то там подкрался. Робко приоткрылась дверь. Студент поднял голову. Она вошла, стараясь преодолеть смущение. Он улыбнулся скорее из вежливости. Он был занят.

Была такая на старшем курсе и на один год старше, по имени Фаина, или просто Фая. Фая Кравец. Он всё ещё сидел спиной к ней; она решилась. Молча, обойдя стол, обняла сзади сидящего и прижалась, давая почувствовать близость своего тела. Это был отважный шаг. Неожиданно стукнуло что-то снаружи, она отпрянула.

В пустом и холодном коридоре общежития, под сиротливыми лампочками по-прежнему всё немотствовало. Время застопорилось. Девушка шагала, глядя прямо перед собой, минуя одну дверь за другой. Она была невысока, несколько полновата и широка в бёдрах, мужчина следовал за ней, как тень.

В тусклом освещении волосы её слабо отливали медвяно-золотистым оттенком. Тысячелетия должны были пройти, прежде чем кровь рыжеволосых цариц Ханаана смешалась в Фае с наследством смуглых пленниц-моавитянок. Она шествовала, точно несла себя, отведя руку в сторону, чуть заметно покачивая бёдрами.

Она остановилась.. В дальнем конце коридора полутёмная лестница спускалась, как в преисподнюю из мира живущих, в подвал. Студент предчувствовал, куда его влечёт непостижимая судьба Оба сошли в сырую тьму подземелья. Медноволосый психомп вёл его в приют испуганно сторонящихся теней. Вдоль стен тянулись трубы центрального отопления, девушка протянула руку к штепселю. Жидкий свет брызнул с потолка, нашлась дверь; отворив, они оглядывали закуток с хозяйственной рухлядью. Искали ложе или саркофаг.

Он подчинился. В огромных, темно отсвечивающих глазах Фаины застыло уверенное ожидание, минуты казались вечностью. Губы зашевелились, — он понял её без слов. То был зов к продолжению жизни. Пальцы Фаины расстегнули кофточку, открылась белизна рубашки, руки потянулись назад к лопаткам освободиться от лифчика, и обнажили грудь.

МИРА НИКОЛАЕВА

В хороводе беззвучных теней является время от времени та, знакомая тень.

Женщина, которую я не любил, которая не сыграла в моей жизни никакой сколько-нибудь важной роли, — оказывается, я её не забыл. И возвращаюсь к временам, как назвал их поэт, баснословным.

Каннибал испустил дух, года через два в наших гиблых краях начались перемены. Весной 55-го я был выпущен «условно-досрочно» из лагеря. Несколько позже, с волчьим билетом в кармане, чудом умудрился поступить в провинциальном Калинин, нынешней Твери, в медицинский институт. Новая жизнь растворила ворота передо мной. Я рьяно взялся за учёбу. Время подпирало, надо было спешить. Успеть закончить хотя бы два курса. Оттепель рано или поздно пройдёт, думал я, моё пухлое дело в архивах тайной полиции ждёт своего часа, меня снова посадят, и уже не окажусь, как в тот раз, в преисподней голым среди волков, смогу по крайней мере стать в лагере лепилой, лекарским помощником.

Большинство новоиспечённых студюзов были вчерашние школьники, мне стукнуло 27 лет, я на этом фоне представлял довольно странное исключение.

Мы познакомились в студенческом общежитии. Она была на другом курсе, обитала этажом выше в комнате с двумя-тремя курсницами. Звали её Мириам, или попросту Мирой. Фамилия необычная, двойная: Николаева-Ромберг. И лет ей было примерно столько же, как и мне.

С необыкновенной отчётливостью рисуется сейчас облик Мирры Николаевой в моём воображении, годы не стёрли его, не заглушили её голос.

Мира была невысокого роста, довольно полная в бёдрах, темноглазая и черноволосая, с не оставлявшими сомнений библейскими чертами лица. Нас, однако, сблизило не только еврейство.

Рыбак рыбака видит издалека: я смутно чувствовал, подозревал в ней прошлое, сходное с моим. Естественно, приходилось скрываться. Намекать на прошлое не полагалось. Не знаю, была ли она тоже в заключении, и откуда взялась её вторая, русская фамилия, была ли Мира замужем, где, когда, — ничего не знаю. Время, впрочем, было, как уже сказано, относительно либеральное. Вегетарианское время — называла его впоследствии Анна Ахматова.

Мира ничего о себе не рассказывала. Очень может быть, что и сама она догадывалась, кто я такой; во всяком случае, не упускала случая выказать свою благожелательность. Как-то раз, услышав от меня о моём с детства любимом блюде, она приготовила на кухне общежития оладьи из сырой картошки и устроила для меня пир в своей комнате.

Тут, возможно, стоит упомянуть об одной из её сожительниц. У меня есть рассказ, кажется, нигде не опубликованный, под названием «Катабасис», что значит нисхождение (не путать со снисхождением), о девушке по имени Фая, которая влюблена в протагониста, равнодушного к ней, и старается его соблазнить. Кое-что сочинитель заимствовал у действительности. Дела давно минувших дней, с тех пор восемнадцатилетняя Фаина Кравец навсегда исчезла с моего горизонта. Но, помнится, мелькала мысль, казавшаяся мне абсурдной, что Мира видит в этой девочке соперницу. Было ли это так на самом деле? Не ведаю.

Город Калинин был расположен не слишком далеко от Москвы. Время от времени, нарушая запрет, с риском, что донесут соседи, я навещал на день-два моих родителей в столице. Однажды — было ли это случайностью? — поздним вечером мы оказались в одном поезде. Возможно, — я об этом тоже не знал, — у Миры были какие-то дела в Москве. Взойдя в тамбур скудно освещенного полупустого вагона, она увидела меня в проходе между скамьями, подошла и опустилась напротив.

Как все нормальные люди, не говоря уже о гражданах моего сорта, я испытывал неистребимый страх перед милицией. Войдут — и сейчас же:

«Ваши документы!». Зловещий пароль.

Слово это всегда означало одно и то же. О моём, уснащённом предательской пометкой паспорте бывшего заключённого уже говорилось.

Какой паспорт предъявит она?

Вагон гремел на стыках, наши физиономии пошатывались в оконном стекле. Никто не входил и не выходил на остановках. Разговор шёл — о чём? Ни о чём. Глухая, негостеприимная страна неслась мимо. Несколько формальных реплик сменились молчанием. Чтобы разрядить немоту, заговорили о чём-то незначимым и недавнем — или далёком.

Она взглянула мне в глаза. Что-то пробормотала — кажется, назвала моё имя. Я почувствовал, что её томит желание выдавить из себя нечто важное. Прошлое стояло между нами.

«Я была... — проговорила она. — Я была хороша!»

Много лет спустя я посетил во время короткого отпуска государство Израиль. Я знал, что после окончания медицинского института Мира репатрировалась, как это тогда называли, и позвонил нашему общему знакомому, узнать её адрес.

Он ответил: Ты её не застанешь.

Почему?

Ответа не было.

Я спросил: Что случилось?

Она умерла, сказал он.

Как всегда в таких случаях, я не хотел верить:

Умерла?!

Оказалось — в Геа, известной психиатрической больнице Израиля.

БЕЗ ИМЕНИ

Меня, начал очередной оратор, всегда интересовали северные страны, например, Исландия, где, конечно, я никогда не был, Исландия, «страна льдов», отшельник Атлантики, как её величают. Кстати, традиционное историческое название не отвечает действительности, страна эта вовсе не скрыта под коркой льда. Климат там довольно умеренный. Бывает и долгая, ветреная зима, и теплое, жаркое даже, лето. Полярной ночи там нет, зато весь июнь продолжают белые ночи...

Страну населяют потомки норвежских викингов и северных певцов-скальдов, сочинителей исландских саг. Недавно я прочёл, что решением ООН Исландская республика признана лучшей страной для жизни. Исландский альтинг, парламент, существует непрерывно с X века. В Исландии нет регулярных вооружённых сил, это самое миролюбивое государство в мире.

Однако мы условились рассказывать случаи из жизни; начнём, пожалуй.

Гости настроились слушать. Он продолжал:

От тюрьмы, да от сумы не зарекайся, вещает наша российская мудрость. Народ, присягнувший на верность тюремно-лагерному режиму, не мог найти лучшего поучения. Смысл этого изречения прост. Всякий, кого угораздило родиться в нашей стране, столь не похожей на Исландию, должен считаться с вероятностью рано или поздно угодить в застенки. Раньше я скрывал своё прошлое. Но теперь это уже не тайна. Подробности скучны и потому излишни. Скажу кратко. Сперва, прежде чем получить срок и отправиться с этапом в лагерь, я куковал во внутренней тюрьме знаменитого здания на Лубянке, потом нырнул в Бутырки. Осень сорок девятого года, чрезвычайно урожайного для госбезопасности, провёл в переполненном спецкорпусе, воздвигнутом ещё при наркомке Ежове. В 262-й камере сидело нас вначале трое, потом пятеро. Здесь всё шло согласно десятилетие назад заведённому ритуалу. В полдень недреманное око восходило в дверном волчке, откидывалась

кормушка. Вертухай возглашал угробным голосом инициалы: «на гэ, на фэ». Нужно было откликнуться, назвав свою фамилию. Ключ скрежетал в замочной скважине. Мы выбирались. Марш по коридору в гробовой тишине вдоль анфилады дверей и мимо профилактической сетки над провалом нижних этажей, железная коробка лифта, гром засовов. Выходная площадка и близкое дыхание воли. И, наконец, мы шествуем гуськом вслед за конвоиром в туго подпоясанной шинели с сержантскими лычками на погонах, с кобурой на бедре. Но! — не конвоиром, а конвоиршей. Впереди гремят сапоги, маячит узел ореховых волос под фуражкой с голубым околышем. Завитки вокруг нежного затылка... Да, друзья мои, верите ли, это была девушка! Это её подковки цокали по асфальту впереди, шаг за шагом, её пистолет вздрагивал на бедре.. Это была влюблённость, немая и безответная. Не помню, чтобы она хоть раз взглянула из-под своего картуза на нас. Всем своим видом, угрюмым безмолвием, походкой девственной Дианы, она демонстрировала холодное презрение к врагам народа. И она пропала, изо дня в день вталкивая нас в прогулочный дворик, каменный мешок над небом Москвы, забаррикадированный стенами и сторожевыми вышками, — исчезла, чтобы навсегда остаться в моей осиротевшей памяти. Как она оказалась в этом застенке, что с ней стало, сменила ли она свои лычки на звёздочки, вышла замуж, родила детей, дождалась внуков?.. Не ведаю. В те дни, в цитадели зла, мне только что исполнился 21 год.

ФЁКЛА КУРОПТЕВА

Иногда, — впрочем, не так уж часто — встаёт перед глазами юность.

Сравниваешь жизнь и страну, где ныне коротаешь затянувшуюся старость, с той, давно ушедшей, — незабвенным отечеством. Так можно сравнивать жизнь на Земле с существованием на Сатурне.

*

Вспоминается разное. Помню событие, замечательное своей невероятностью, гробовой голос диктора Левитана из радиоприёмника на столбе в бараке: *Товарищ Сталин потерял сознание*. Злорадное торжество, охватившее узников, хоть и старались его не показывать: наконец-то! И хотя каннибал, как считалось, ещё был жив, все поняли: это конец.

Но ещё много воды должно было утечь, прежде чем наступили перемены. Время — вещь необычайно длинная, как пел государственный поэт. И тянулась она, эта вещь, словно на дальних планетах. Как малосрочник — восемь лет, вдобавок большая часть срока уже отсиджена, — я был расконвоирован и должен был перепробовать много новых должностей и работ. Был и ночным дровоколом на электростанции, и банщиком-истопником в бане для начальства, и конюхом, и хозвозчиком, и комендантом на крайнем северном полустанке лагерной железной дороги. Полагаю, нет необходимости напоминать о том, что рабовладельчество в нашем государстве длилось и сохранялось нескончаемые годы. Как известно, год на Сатурне продолжается 3000 лет.

*

Загремел железный засов на вахте. Предъявив только что вставшему с лежанки, сладко зевающему дежурному надзирателю свой заветный пропуск безконвойного, счастливец вышел за воро-

та лагпункта в синюю морозную ночь. На чёрном небе низко над лесом сверкали алмазные звёзды стоявшей горизонтально Большой Медведицы. Всю долгую ночь 55-го года несла вахту недоступная воображению семижды окольцованная планета лагерей, покровительница России. Всю ночь напролёт сияло, словно иллюминация, кольцо огней вокруг жилой зоны и били с вышек белые струи прожекторов.

По узкой тропке, протоптанной в снегу мимо увешанного лампочками, нежно позванивающего цепочками бессонных овчарок древнерусского тына рассказчик прошагал до угловой вышки с завёрнутым в тулуп пулемётчиком и направился к сторожке при магазине вольнонаёмных, охранять объект неизвестно от кого. Славная работа. На мне был стёганный ватный бушлат, род униформы заключённых, ватные штаны и чудовищные валенки б/у, что означает бывшие в употреблении. На голове ушанка с козырьком рыбьего меха и завязанными ушами, руки в латаных мешковинных рукавицах.

Посидев маленько для порядка, вышел из сторожки. Тёмная и укромная чаща поджидала, храня тайну. Я научился определять время по звёздам. Привык к риску. Риск этот, и немалый, состоял в том, что если бы меня хватились, мне было бы не сдобровать. Влепят новый срок, а то и загонят с этапом на край света. Отечество наше, слава-те господи, велико.

Столетние сосны, утонувшие в снегу, расступились перед идущим, я бодро шагал вперёд по знакомой дороге. Идти было недалеко, километров пять.

*

Наконец, посветлело впереди. В белёсой мгле завиднелись угластые избы под шапками снега. Ни звука, ни огня вокруг, деревня Кукуй спит вековым непробудным сном со времён Батя, лишь два окошка светятся на самом краю селения. Проваливаясь в сугробах, путник перебрался через погребённый плетень и взошёл на крыльцо. Оттоптал снег в сенях, толкнулся в тяжёлую, застонавшую дверь. В тёплой и духовитой от развешанных под потолком пучков полыни избе было чисто и уютно, чахлый огонёк вздрагивал в сальном светильнике на дощатом столе, в красном углу поблескивала жестью оклада темноликая византийская Богородица.

Гость уселся на пороге, стянул валенки, размотал портянки. Она стояла надо мной, босая, молча, в длинной рубаше, под которой стояли её большие материнские груди.

«Феклуша, — прохрипел я или тот, кто был тогда мною — Феклуша!» — И мы обнялись, и долго и горячо целовались.

*

Я полез в лагерных подштанниках по шаткой лесенке на лежанку. Печь дышала теплом. Подполз ближе. Сильные женские руки обхватили меня, толстые пальцы прокрались ловко и нежно по моему тощему телу и нашли то, что искали. И я погрузился в чашу её просторных бёдер, словно воротился из дальних странствий, домой, где ждали меня, — на родину.

ЛИДА ЛАВРОВА

Я вернулся в мой город, знакомый до слёз...

Осип Мандельштам

Некоторые, начал очередной рассказчик, уверяют, что писатель не может творить, оторвавшись от стихии родного языка — простившись с отечеством. Я и сам чувствую свою отверженность, и теперь, принимаясь за эти мало созвучные духу времени замечания, нахожу, что невольно впал в старомодный тон. Но этого требовал мой сюжет.

Видите ли, вспоминать — это не то же что помнить... Случилось так, что я вернулся после одиннадцатилетнего изгнания в город, который, собственно, и считаю своим отечеством; обстоятельства мои не располагали к долговременному визиту, не говоря о том, чтобы остаться насовсем. У меня был запас свободного времени, для начала хотелось прогуляться, я чуть не сказал — прошвырнуться, по родным местам. Мне не нужен был план города, путеводителем служила мне моё детство. Первым делом я отправился на улицу Кирова, некогда именовавшуюся Мясницкой. Если вы спросите у прохожих, что за птица был этот Киров, вам вряд ли кто объяснит. Разве только пожмёт плечами: дескать, был такой. Тёмная личность. А ведь я ещё помню траур, когда кто-то его убил. Думаю, мне не поверят, если я скажу, что помню даже, как по Мясницкой ходил трамвай. Помню последних извозчиков, они сидели на козлах ожидая седоков, которых становилось всё меньше. Здесь всё давно стало бывшим.

Погода улыбнулась прищельцу. Естественно, я шёл пешком. Миновал Кривоколенный переулок; долго разглядывал старинную вывеску. Нельзя быть истинным москвичом, не зная об этом в общем-то ничем не замечательном переулке. Такие названия, как Покровка, Маросейка, Армянский переулок, Чистые Пруды, Красные Ворота, звучат для меня как топонимы античной географии. Дойдя до следующего поворота, в Большой Козловский, — тут по-

мещался прежде писчебумажный магазин, можно было купить тетрадку в клетку или в линейку, стальное перо № 86, перо «селё-дочку», или «рондо», — дойдя до угла, как в бреду, я побрёл, кра-дучись, мимо дома 42, обиталища уголовной шпаны, увидел вер-зилу на страже у ворот, — сейчас оттуда выкатится слюнявый под-росток, попробуй отмахнуться от него, бандит шагнет к тебе, квак-нет: «дай ребёнку часы поиграть»; впрочем, никаких ручных час-сов ни у кого тогда ещё не было. Словом, опасный двор. Отогнав наваждение, я двинулся вдоль каменной ограды исчезнувшего че-хословацкого консульства. Вспомнилось, как мы, дети, столпились перед подъездом великолепного особняка вокруг машины, из ко-торой вылезал элегантный офицер в мундире с узкими серебря-ными погонами, — нечто невиданное. Побрёл дальше... внимание! Дом, подумать только, наш дом стоит, как ни в чём не бывало. Мертвенно поблескивают окна нижнего этажа, — кто теперь там обитает? Я мог бы и сейчас назвать фамилии чуть ли не всех квар-тирантов. Направо от окон гдухие железные створы ворот. При-знать ли, что фасад, окна, арка ворот собственно и были целью моего путешествия? Ноги подтащили меня к подворотне.

Толкнулся — не тут-то было, ворота захлопнуты. Повернул назад оглобли к Большому Харитоньевскому и Чистопрудному бульвару. И тут, наконец, дошло до сознания, паломника, блудно-го сына, охваченного ознобом бездомности, что никто и ничто в этом царстве сна тебя не ждёт.

Из вещества того же, что и сон, мы созданы, и наша жизнь кругом объята снами, говорит Миранда у Шекспира. Навязчи-вость одних и тех же грёз подтверждает её правоту. Впрочем, ос-порить новое и чужое, воцарившееся за все эти годы, было бы не-возможно: город, знаемый наизусть, стал непроизносим. Однако свежие впечатления недолговечны, бывшее не мирится с новым. Память не терпит редактуры. Сны непогрешимы.

Всё же мне бы следовало — на то я и литератор — подробнее отчитаться перед вами об этом путешествии, что я и собираюсь сделать. Итак, продолжим. Войдя в переулок, обессмертивший некоего домовладельца, который обосновался здесь после пожара 1812 года, иноземный гость узрел воочию то, о чём фантазировал не одну творческую ночь. Первая мысль моя была о дворнике. Иван Лавров, суровый мужик в холщёвых портах на крестообраз-ных помочах и белом фартуке, униформе столичных дворников,

времени, запирал ворота от незваных визитёров — бродячих певцов, гадалей, собирателей съестных отбросов и местного хулиганья. Что стало с дядей Иваном? Казалось мне, я не удивлюсь, выйди он мне навстречу.

Но прежде хочу сказать о метаморфозе, естественной для человека, очутившегося в другом времени. Побродив взад-вперёд, я ещё раз нажал на ворота. Чудо — створы приоткрылись. Протиснуться в щель для подростка, в которого я превратился, не представляло труда. И вот стою, волнуясь, под аркой: слева мусорный ящик с поднятой крышкой источает запахи гнили и старины, — кто-то забыл захлопнуть. Впереди, в просвете арки наш старый двор, знаю назубок его, как «У лукоморья дуб зелёный»: каменный мешок, похожий на все московские дворы. Всё тут не раз обнюхано и описано в моих сочинениях: и рёбра снеготаялки в ожидании зимы, и пожарные лестницы, и оба чёрных хода, и ребячьи письма мелом на асфальте. По-прежнему слепо отсвечивают окна этажей, — в эту минуту солнце украдкой проникло в пропасть двора. Задрал голову, я увидел над окоёмом крыш и кирпичным брандмауэром голубые поляны неба.

Но сам двор на удивление оказался мал, стиснутый между стенами дома, — всё-таки я воображал его себе иначе. Трудно было представить, как мы могли носиться наперегонки в этакой тесноте, от подворотни к крыльцу перед квартирой дворника, от одной лестницы к другой.

Тут меня окликнули. Вздрогнув, я обернулся. И это случилось! Не напрасно вспомнилась наша беготня. Приключение, ожидавшее меня, было из тех, в которые веришь и не веришь одновременно, — готов, однако, ручаться за правдивость своего рассказа.

«Ты?!» — спросил я ошеломлённо. Тотчас меня осенило: ведь я её ждал! Сам того не замечая, не отдавая себе отчёта, думал о ней, бродя по переулку, колотясь в ворота. Лида, Лидка, старшая дочка дяди Ивана.

«Из вежества того же что и сон...». Не могло быть никаких сомнений. Она, живая, как в той жизни, и сама жизнь, Лида, которую никто не мог догнать, крепконогая, круглолицая, почти на голову выше меня и на год старше, в ситцевом платье до коленок, под которым как будто уже начали округляться бёдра. Я уставился на Лиду глазами сверстника и взрослого одновременно. То была зашифрованная в двенадцатилетнем подростке красота женщины.

«Не узнаёшь? — спросила она.— А я тебя сразу узнала».

Не только узнала, но, как и я её, назвала меня по имени, вместе с которым я привёз незабываемое прошлое. Я молчал, не сводя от неё глаз. Мне нужно было время, чтобы окончательно ощутить себя одним из тех, кем были все мы, наш двор, — полудетское наше отечество. Обоих, меня и Лидку, дразнили женихом и невестой

«Помнишь?» — спросил я.

Она возразила, подбоченившись:

«Я знала, что ты приедешь».

Я пролепетал:

«Знала... откуда?..»

«От верблюда. Зачем?»

«Что зачем?»

«Зачем приехал».

«Сам не знаю, — сказал я. — За тобой».

«За мной?».

«Чтобы ты со мной поехала».

Ответ неожиданный для меня самого.

«Куда это?» — надменно спросила Лидия.

Ещё несколько минут прошло в обоюдном молчании...

«Хочешь, — продолжал я, — поедем со мной?»

«Я ещё не... — Не женщина», — возразила она, вероятно, решив (или догадавшись), что я хочу на ней жениться, и провела руками от груди до бёдер.

Я ждал (если это был я). Она облила меня презрительным взглядом. Прошлась, танцуя, мимо меня, по двору, ставшему таким нешироким. Она была права. Я понял, насколько Лида стала меня старше. Она успела усвоить чисто женское умение сделать партнёра зеркалом, в котором сама смотрелась. Я заметил — ибо зеркало всё видит, — что она поигрывает на ходу бёдрами. Прогуливаясь, она напевала:

«Тили-тили тесто, жених и невеста...»

Я решил.

«Последний раз предлагаю. Поедешь со мной?» — и повернулся к выходу.

«Ты куда?»

Я возразил, что мне надо закончить рассказ. А времени остаётся немного.

«Ты пишешь рассказы?»

«Пишу. Разные... Вот, например, этот».

«Понимаю. Тебе пора в аэропорт, — проговорила она задумчиво, видимо, не зная, что воздушного сообщения ещё не существует. — Постой, — сказала она, — нам надо попрощаться. Хочешь меня поцеловать?»

«Ты не умеешь целоваться, — сказала Лида, когда губы наши расстались. — А сюда хочешь?» — и отколупнула пуговицы платья на груди.

Целуя Лиду, я нашёл маленький плоский сосок. Она вырвалась. Сновидец знал, что он её не догонит.

Считается (некоторые разделяют эту точку зрения), что писателю необходимо жить среди своего народа, в стихии родного языка. У меня нет собственного мнения на этот счёт.

НАТАША АРТОБОЛЕВСКАЯ

В главной аудитории Московского университета, когда-то Богословской, а в наше время Коммунистической, на балконе, откуда открывался внизу вид на эстраду с пультом профессора и заполнившие амфитеатр головы стулентов, сидела девушка, склонившись над рукоделием, подрубала платочек и, по-видимому, была вполне поглощена этим занятием; лекция её не интересовала. Я встречал её изредка разгуливающей с какой-нибудь компаньонкой вокруг балюстрады над парадной лестницей аудиторного корпуса. Те, кто учился в первое послевоенное десятилетие на филологическом факультете, наверняка её запомнили. Не заметить Наташу Артобелевскую было невозможно.

Ей было лет восемнадцать. Не будучи ослепительной красавицей, как кинозвезда Дина Дарбин, Наташа Артобелевская была сама прелесть. В те времена усиленно насаждался ностальгически-консервативный патриотизм. Наташа носила гимназическое платье и косы ниже талии. Косы были тогда новшеством.

Единственный раз я оказался рядом с Наташей у балюстрады. Я был равнодушен к её очарованию, меня занимало другое увлечение. Болтали, не помню о чём, почему-то был упомянут последний русский царь Николай Второй. Она сказала: государь. Давно и безвозвратно исчезнувшее величание.

Мне казалось — и, думаю, не только мне, — что Наташа играет чуть ли не с младенчества заученную роль. Не то Наташа Ростова, не то легкокрылая бунинская гимназистка (при том что белоэмигрант Бунин был запретным, мало кому известным автором), кокетливо-манерная барышня, притворно-глупенькая, избалованная, привыкшая ко всеобщему любованию и сюсюканью. Сокурсницы, понятное дело, её не любили. Она училась, как и я, на классическом отделении. Училась неохотно и плохо. К древним языкам не проявляла ни малейшего интереса.

Сегодня можно узнать в интернете, что старинный пензенский род Артоболевских (полугреческая фамилия, не дворянская, а консисторская) выдвинул несколько известных священнослужителей и церковных писателей.

Однажды, продолжал рассказчик, я был приглашён к ней в гости. Я ожидал, что придут и другие девочки нашего отделения, оказалось не то. Отыскал квартиру Артоболевских (отдельную, — в те времена большая роскошь), Робея, нажал на пуговку звонка.

Это был вечер интеллигентной молодёжи. В просторной гостиной за роялем сидел юноша с пышной женской шевелюрой, студент консерватории — по всему судя, избранный гость и кружковый гений. Он играл «Февраль, на тройке» Чайковского, из «Времени года», вещь, мне малознакомую, и меня поразила точность музыкального воспроизведения езды по снежной дороге — я совсем недавно вернулся в Москву из эвакуации в Татарской республике, где не раз приходилось путешествовать, правда, не в кибитке 19-го века, а в обыкновенных деревенских розвальнях. Слушая музыку, я тотчас представил себе, как это происходит: сперва лошадь, таща за собой сани, взбирается на ухаб, задерживается на миг, экипаж съезжает вниз, задок саней описывает полукруг, лошадь поддаёт, — и вот опять равнина, и вольный бег по широкому снежному раздолью, и далёкое звяканье колокольчика... Не знаю, встречается ли в музыкальной литературе столь подробное истолкование.

Мальчик опустил крышку рояля, в комнату вошла пожилая женщина в кухонном фартуке, с принадлежностями для ужина. Каждый, сидя или стоя, получил порцию картофельного пюре с мясом — поистине царское угощение.

Весь тот вечер, не поднимаясь, я просидел в углу дивана, не решался ни с кем заговорить, и никто ко мне не подошёл. Непобедимая застенчивость сковала меня. Я почувствовал себя чужим и чуждым в этом богатом доме, в компании молодых людей и девушек из привилегированного круга. Это было сознание очевидного классового неравенства, чувство сословной неполноценности.

Сороковые годы, роковые, как их назвал Давид Самойлов, сменились коротким промежутком послевоенных, гнуснейшей порой. Все мы, и зелёные юнцы, и наши седовласые университетские менторы. и женоподобный юноша за роялем, и стильные барышни, обитатели просторных квартир, где можно было каждый

день кушать тушёное мясо с гарниром, и обнищальные алкоголики, калеки войны на тележках с колёсиками, просящие милостыню в вагонах пригородных поездов, и палачи в мундирах с золотыми погонами, населявшие тайные кабинеты похжей на колумбарий цитадели на площади с памятником Дзержинскому, и эшелоны невольников для усеявших огромную страну лагерей рабского принудительного труда, — всех, всех связала единая цепь, та, о которой рассказывает чеховский студент духовной семинарии, та самая цепь, которая соединила греющихся у костра деревенских старух с апостолом Петром, предавшим Учителя, так что коснёшься одного звена и колыхнётся другое, на самом конце. Всё это одно и называется одним общим словом — Россия.

МАРЬЯ ИВАНОВНА

«Прошу прощения, — начал я, — у присутствующих дам. Расскажу немного неприличную историю.

Давным-давно, в восьмидесятых годах, я ехал в полупустом, гремучем и шатком вагоне дальнего следования, сидел один в свободном купе, забаррикадированный коробками с провиантом, которыми оснастили меня друзья. Перелистывал Рильке, читал третью Дуинскую элегию, ту, где говорится о родовом наследии хаоса, — чувственности, пробуждающейся у юноши, о Нептуне крови с его страшным трезубцем. Стихи эти имеют некоторое отношение к моему рассказу. Сам я тогда был ещё молод. Ехал долго и далеко, до станции Бейнеу в Западном Казахстане, навестить одного опального математика, сосланного за редактирование подпольного самиздатского журнала, в коем подвизался и я. Время от времени я выходил в коридор, стоял перед вагонным окном, обозревая проносившийся мимо унылый пейзаж, сожжённые солнцем пустынные дали, редкую бурую растительность, солончаки. Однажды раздвинулась дверь соседнего купе. Вышла и стала рядом со мной у окна женщина, не молодая и не старая, из тех, о ком говорится: сорок лет — бабий век, сорок пять — баба ягодка опять!

Попутчица моя была среднего роста, широкая в бёдрах, круглолицая, сероглазая, со свекольным румянцем на скулах. Одета в вязаную кацавейку на пуговицах, с трудом сходящихся на груди, и просторную грубошерстную юбку, из-под которой выглядывали крепкие короткие ноги. Теплый платок обнимал её опущенные плечи.

Разговорились. Она ехала навестить сына, недавно призванного в армию. В СССР новобранцам не положено было оставаться близ родных мест, непременно надо было отбывать срок службы где-нибудь подальше.

«До чего скучная земля, с тоски подохнешь!» — Ей надо было сходить раньше меня. — А ты что же, один тоже едешь?»

Показала мне карточку сына. Простоватый деревенский парень, рядом прижалась девчонка в коротком платье, с толстыми коленками.

«Невеста?»

«Вроде бы. Говорит, жду. Не знаю, дотерпит ли...».

Я спросил;

«А он? Любит её?».

Да какая там любовь. Только бы живым-здоровым вернулся. Платить надо. Начальству ихнему...».

И умолкла. По-прежнему нёсся, погромыхивал на стыках состав. Сколько-то времени прошло, в купе ко мне постучались, Я сказал: «Войдите». И отложил книжку.

Вошла она, платка на ней уже не было. Молча присела напротив, расправив юбку. Я отложил книжку.

«Вы уж меня извините, помешала вам, — сказала она. — Я вам говорила...»

«Что такое?» — спросил я.

«Мне нужны деньги, сыночку моему помочь...».

После некоторого молчания она продолжала:

«Вы не смотрите, что я такая старая. Я не старая... Будете довольны. Мне деньги позарез нужны. Много не возьму».

От неожиданности я сперва не понял — или не хотел понимать. И... запнулся. Она догадалась, что подыскиваю имя.

«Маша меня зовут, Марь-Иванна...»

«Здесь?» — спросил я.

«А чего. Никто не войдёт. Пожалста, не знаю как вас... — Она всхлипнула. — Христом-богом молю, возьмите меня... Хучь здесь, хучь у меня».

Мне представилось, как она будет точно так же унижаться перед воображаемым начальством, плакать и совать взятку. Я дал ей денег, поезд пошёл медленней, через полчаса она сошла.

АЛИНА ПУТОВКИНА

Всё ещё длилось, не собиралось разойтись затянувшееся застолье. Человек, на которого мы с любопытством поглядывали, опустил голову, точно собирался с мыслями. Вся компания смолкла.

Гость этот был высокий костлявый старик лет семидесяти, в седых усах, с короткой серебряной стрижкой. Видно было, что он привычно сутулился, длинные ноги с трудом помещались под столом. Звали доктора старорежимным именем и отчеством Варлам Аполлосович, и всё в нём — манеры, внешность — выдавало старую школу. Подозреваю, что и дальнейшее повествование моё, точнее, пересказ его рассказа показался подражанием классикам — то ли Бунину, то ли Толстому, особенно Бунину, ведь лучшее, что он писал о женщинах, написано стариком! Само собой, не обошлось и без Мопассана, некогда обожаемого, но которого люблю до сих пор. Вспомнился, кстати, глупый случай, когда редакторша литературного журнала, молодая и непреклонная дама, зарубила мою рецензию на только что вышедшее в Париже жизнеописание автора «Пышки» и «Милого друга», назвав его плохим писателем, за что я бы охотно с удовольствием отшлёпал самовольную пифию по нижнему бюсту.

Итак, продолжаем. Доктор Василий Аполлосович стряхнул с себя задумчивость — словно очнулся.

«Нет, — сказал он, угадав наши мысли, — это не то, что называется случай из практики. Скорее, наоборот. Но ничего не поделаешь, взялся за гуж... Здесь много говорилось о женщинах. Тема, бесспорно, увлекательная. Я, надо вам сказать, был в своей жизни женат дважды. Первый раз на однокласснице. Брак оказался кратковременным, Супруге я как-то вдруг надоел, одна измена за другой... Результат был тот, что я возненавидел весь прекрасный пол. Дал себе слово, что навеки останусь холостяком. Не получилось! — Варлам Аполлосович усмехнулся. — Я не мистик, но подчас начинаешь волей-неволей верить в предопределение.

После института я, как это называлось тогда, был распределён: заведовать сельской участковой больницей на пятьдесят коек. Поселился в квартире бывшего земского врача. Вообще многое в моей новой жизни напоминало чеховские времена. Разве только зимой путешествовал по врачебному участку не в санях, а в старом, довоенных времён санитарном фургоне с красными крестами на стёклах. Постепенно вошёл во вкус, жизнь пошла привычным чередом. По утрам обходил палаты, до обеда принимал больных в амбулатории, Ночью дежурил попеременно с фельдшером в ожидании прибытия новых случаев откуда-нибудь из окрестных сёл.

И вот однажды, в декабре месяце, когда всю мою больничку завалило снегом, ко мне постучались. Я сидел в жарко натопленной комнате в одиночестве перед керосиновой лампой, что-то там перелистывал. Открываю, на площадке перед лестницей — Пуговкина, Оля — так больше нравилось ей самой, хотя настоящее имя её было Алина. Школьная учительница и, между прочим, моя пациентка; помнится, была выписана из больницы недели три тому назад. Двадцать четыре года, в меховой шапочке, снег на ресницах, и, помните, у Пушкина: Как дева русская в пыли снегов свежа! В окне, перед моим крыльцом сани. Часто дышит от волнения, запыхавшись, оттаптывает остатки снега с маленьких валенок, стаскивает зубами пёстрые с вышивкой варежки... Что случилось? Ничего, слава Богу, просто захотела поздравить доктора с Новым годом. Ну что ж, говорю, раздевайтесь, садитесь... Попросила разрешения сойти вниз на минутку и тотчас воротилась с кошёлкой в руках. Смотрю, совершенно обескураженный, на запоздалое приношение «от благодарной больной». Спасибо, очень тронут. Потом выхожу из своей спальни — гостя в нарядном платье, тщательно причёсанная, с подвесками в ушах, на груди ожерелье, ожидает перед накрытым столом. Шампанское, чёрное в серебряном уборе, высится наготове. А на окнах морозные пальмы, а кругом белое безмолвие, вечная наша, непробудная Россия словно тысячу лет назад... И я со своим древнерусским именем, и она, и ледяное кипящее шампанское... Как же мы были молоды тогда!»

ЛЮБА КОЛОДЕЗНАЯ

И понял я, что я в аду.
Вл. Набоков, «Лилит»

Разговор как будто иссяк. Но ненадолго. Обновили яства, хозяин дома водрузил подкрепление. Доктор Василий Аполлосович поднёс к губам свой бокал. Внимание удвоилось. Доктор прочистил горло.

«Счастливый брак, — проговорил он, — прочен, но хрупок, как драгоценный фарфор. Упаси Бог, ненароком заденешь, и — вдребезги. Вот об этом «заденешь», позвольте, расскажу вам, совсем кратко...»

Было это уже после того, как мы оставили земство. Оля успела родить двух девочек. Мы переехали в столицу. Я работал в Елисаветинской больнице, в Центре, у Яузских ворот. Вы её знаете: больница известная, историческая. Бывший странноприимный дом, построенный при царице Елизавете Петровне.

Однажды произошёл такой, я бы сказал, совершенно незначительный случай. Я дежурил ночью в терапевтическом отделении. Ко мне постучалась дежурная сестра. Больная в шестой палате не спала, жаловалась на боли в груди. Приход врача сам по себе есть терапевтическое мероприятие. Над дверью мигал сигнальный огонёк. Я вошёл в палату, склонился над пожилой женщиной, выслушал сердце. Велел сделать укол.

Спустя немного времени сестричка вновь постучала в кабинет.

Появилась она у нас недавно. Кажется, приехала откуда-то из провинции. Я встречал её изредка в отделении. Поглядывал на неё, — этак, знаете ли, неопределённо, скользнёшь глазами и забудешь. Она тоже вроде бы заметила это. Ещё был такой эпизод: случайно, идя по отделению, я заглянул в комнатку для сестёр, рабочий день только начался. Она там одевалась. Стояла на цыпочках перед зеркалом, примеряя накрахмаленный шлем, кото-

рый делал её выше. Я увидел её с обеих сторон: сзади, спиной ко мне, и спереди в зеркале. Оттого, что она привсталала, подколенные ямки в толстых хлопчатобумажных чулках (шёлковые «паутинки» были тогда роскошью) показались из короткого халата. Чёрные глаза стрельнули в меня из зеркала. «Сюда нельзя!» — сказала она. Скажу вам наперед: эти чулки, обтянувшие её ноги, сыграли какую-то роль. Искра пробежала на мгновение между нами.

С этого началось.... Ещё раз Люба Колодезная на дежурстве вошла ночью ко мне в кабинет. Вижу её сейчас как живую, в белом колпаке, невысокая, черноглазая и черноволосая, с примесью татарской крови, тесно подпоясанный халат несомненно с умыслом поднимает грудь. Особенно эта, словно подложенная снизу, грудь бросается в глаза, словно ждёт, чтобы её оценили. Ножки, коротковатые, обтянутые чулками, в крошечных лаковых босоножках и вся фигурка излучают запретную, раздражающую прелесть. И, что опаснее всего, Люба это знает. И я тоже знаю, что она явилась неспроста. Спрашиваю, как там больная в шестой палате.

«Спит», — сказала она.

Я встал. В эту минуту она оказалась рядом. Мы стояли лицом к лицу. Она ждала. Мимолётно чёрные, как крепкий кофе, глаза Любы скользнули по мне, по моей физиономии.

Я тронулся навстречу, — тотчас — незабываемый миг! — она подалась ко мне. Я почувствовал — я это *знал*, — что она немедленно даст себя обнять. Это был единственный, наш общий шанс.

Мысль об Ольге меня остановила. Струсив, я отступил. Люба отпрянула. Повернулась и молча вышла.

Но дело этим не кончилось. Измена, грозящая разрушить мою жизнь, не состоялась — пока ещё не состоялась.

Я заболел Любой. Я не мог забыть эту ночь, когда она пришла, без сомнения с определённой целью. и уже готова была отдаться моим объятьям, здесь, в отделении, на кушетке дежурного врача — не так ли? С этого дня всякий раз, идя на работу, я думал о том, что увижу Любу, её крахмальный сестринский шлем, чёрную чёлку до бровей и ноги, обтянутые чулками, и если её не было, ждал удобного момента, искал возможности с ней столкнуться. Я её не встретил. Её не было. Оказалось — на моё счастье! — что её перевели в другое отделение.

Вновь подошла моя очередь дежурить ночью. Я не мог усидеть на месте и, предупредив дежурную сестру, что иду куда-то по

вызову, спустился в лифте этажом ниже и по безлюдному внутреннему коридору, в мёртвой тишине, направился в соседний корпус. Я шагал, порабощённый инстинктом, точно в поле таинственного сатанинского излучения, исходящего от Любы, в сумасшедшей уверенности, что застану её где-то там, что она колдует оттуда и ждёт.

Предчувствие не обмануло меня. Люба в белом, как привидение, — только это было не привидение! — в самом деле показалась в конце коридора. Оба мы, словно заговорщики, двинулись без звука друг другу навстречу... Она остановилась в нерешительности. И юркнула прочь от меня в какой-то закоулок.

Ветер подхватил меня. Я рванулся к ней и молча, неистово, мучительно схватил и обхватил её. Она испугалась и забормотала: «Валичка, Валичка...», назвав меня по имени. Якобы хотела спастись... Спасения не было. Обнимая её, я почувствовал, что она прижимается ко мне низом живота. Её лоно искало встречи.

Она вырвалась и побежала прочь.

С тех пор я никогда больше не видел Любу Колодезную. Что стало с ней? Где она сейчас? Понятия не имею. Вообразить её старухой, моей ровесницей, я не в силах.

ИРА ВОРМЗЕР

Для точности, промолвила, глядя в пространство мимо слушателей, единственная участница застолья, мне бы надо указать дату этого приключения. Стыдно признаться: я не стараюсь его забыть; да и не хочу забывать; наоборот, стараюсь вспомнить все подробности, всё, о чём нормальная женщина никогда никому не расскажет. Вот сейчас возьму лист бумаги, и — как на духу: всё как было.

Меня всегда удивляла откровенность современных писателей: ведь ясно же, что под видом вымышленных событий описывается то, что было с самим автором; как же ему не стыдно? А если не было, если он действительно всё придумал, значит, он не стесняется демонстрировать перед всеми свою разнузданную фантазию. Боюсь, что в конце концов я порву свои записи в мелкие клочки. Вернее, боюсь, что у меня не хватит духу порвать их. Ведь это было бы изменой, а я уже сказала, что не хочу ничего забывать. Прошу моего сына, если случайно эта тетрадка когда-нибудь после моей смерти попадётся ему на глаза, выбросить не читая. Ему, я думаю, в голову не придёт, что со старушкой могло приключиться что-нибудь такое.

Обычно ставят в вину старшим, что они не знают, чем живут дети, но это неверно: всё главное в жизни детей родителям известно. Потому что это абсолютно то же самое, что было главным в их собственной жизни, в жизни родителей. Люди не меняются, что бы ни происходило в мире, и все по-настоящему важные события в жизни мужчины и женщины были и будут всегда одинаковыми. Зато дети ничего не знают о родителях. Если они и догадываются, что всё, что они переживают, когда-то происходило с их родителями, то уж наверняка не могут себе представить, что родители до сих пор тянут всё ту же песню.

Я так и слышу голос моего сына: в твои-то годы? Вот уж действительно смех — на старости лет уподобиться собственным де-

тям. Но хватит философствовать. Дело происходит во вторник, а число не имеет значения. Время — одиннадцатый час, пора готовиться к столу. А я всё ещё стою перед зеркалом, то отступлю на шаг, то подойду вплотную; на косметику я не трачу времени, разве только чуть-чуть, одна мысль о том, что человек, которого я жду, подумает, что я намазалась, чтобы ему понравиться, для меня мучительна. Деловой осмотр давно окончен, но какая-то сила удерживает меня. Зеркало висит наклонно, от этого фигура выглядит короче; я снимаю его и прислоняю к стене; теперь, напротив, я кажусь себе слишком высокой.

Тело женщины просвечивает под любой одеждой. Этот сомнительный афоризм принадлежит моему бывшему мужу. Не стоило бы сейчас вспоминать о моём муже, да я и так вспоминаю о нём редко, разве что стоя, задумавшись, перед зеркалом. Я недолго раздумывала, что мне надеть, так как, повторяю, мне было бы неприятно, если бы гость подумал, что я нарядилась ради него. Но, конечно, напялить на себя что-нибудь старушечье тоже не хотелось.

Последний, подводящий итоги взгляд; печальные итоги, что и говорить. Умение видеть себя — это особое искусство, не каждая им владеет. Не искусство, а проклятие — уметь видеть себя такой, какая ты есть. Большинство смотрит в зеркало в надежде найти там не себя, а ту, которую хочется увидеть. Утро вообще не лучшее время для таких, как я, а в это утро моё лицо было ниже всякой критики. Это оттого, что я плохо сплю ночью. Вечером стараюсь не ложиться рано в постель, боюсь заснуть слишком рано и проснуться среди ночи, и, конечно же, просыпаюсь. Боюсь ночей: по ночам меня осаждают страшные мысли. Понимаешь, что всё потеряно и впереди ничего не осталось. Думаешь о том, как жестоко насмеялась над тобой жизнь, и эта мука тянется, пока не начнёт светать.

Результат был в буквальном смысле налицо.

Я увидела себя, свои дряблые щёки, слегка алеющие под набрякшими нижними веками, свои грустно-насмешливые глаза, всё ещё сохранившие тёмный, таинственный блеск, которым я славилась в молодости. В последний раз, отступив на два шага, я оглядела всю себя, одёрнула юбку. Отмечу всё же ради справедливости, что белая кофточка с отложным стоячим воротничком

мне идёт. Я надела бусы и отстегнула верхнюю пуговку. Мои груди, пожалуй, слишком бросались в глаза. Всё же я осталась собой довольна.

Он оказался пунктуален, ровно в двенадцать в прихожей раздался звонок. Я помедлила и открыла. Он вошёл... Моё жильё... что сказать о моём жилье? Обыкновенная квартира в обыкновенном, паршивом блочном доме, с окнами без подоконников, с низкими потолками, одна из двух квартир, на которые мы с мужем разменяли наши бывшие хоромы или, лучше сказать, нашу бывшую жизнь. Теперешнее моё обиталище состоит из крохотной передней, кухни и комнаты, правда, довольно большой, где стоит инструмент. У окна помещается письменный стол (за которым я сейчас сижу). Есть ещё ниша вроде алькова, прикрытого занавеской: за ней стоит кровать, оставшаяся у меня на память о моём неудачном супружестве; мысль о том, что на этой кровати мы когда-то любили друг друга, что на ней был зачат наш сын, меня давно уже не волнует. Итак, я подождала, пока звонок повторится, встала и вышла в прихожую. Я не стала спрашивать, кто там, сняла цепочку и открыла, зная, что это он, и в самом деле это был он, в пальто и шляпе, с букетом в руках.

Надо было, конечно, развернуть бумагу и воскликнуть, ах, какие чудные цветы, — или он сам должен был развернуть. Вместо этого я сказала: «Привет», и он отвечал, усмехнувшись: «Привет», расстегнул пальто, стряхнул капли дождя с шляпы, тут-то я и увидела, что он страшно изменился. И тотчас подумала, как же должна измениться я сама, если он так изменился. «Но что же мы стоим?»

Следом за мной он вошёл в большую комнату, я всегда говорю: большая комната, словно у меня несколько комнат. Остановился и обвёл невидящим каким-то взглядом фотографии, люстру, рояль. На пюпитре стояли ноты, бетховенские сонаты. «Ты преподаёшь?» — спросил он. Я хотела задать ему встречный вопрос, но вовремя остановилась. Он понял и ответил: «Я давно оставил музыку».

Когда я сейчас вспоминаю эти первые минуты, неловкое стояние друг перед другом, фразы, которыми мы обменялись, — никаких усилий мне это не стоит, всё запомнилось до мельчайших подробностей, — то невольно вкладываю в каждую реплику зашиф-

рованный смысл, которого в них, может быть, вовсе и не было. Когда знаешь, что было потом, то кажется, что всё к этому и шло, всё говорилось неспроста и все вещи были участниками тайного заговора. Музыка на пюпитре и фотографии, следившие за нами, и пуговицы на моей блузке, которые я перебирала, словно хотела убедиться, что они все на месте, и потухший, блуждающий по комнате взор моего гостя. Почему потухший?

Вероятно, и у того, кто прочёл бы эту тетрадь, возникло бы такое же впечатление умышленности; ошибочное впечатление. Конечно, я немного волновалась. Но не стоит преувеличивать: мы просто испытывали неловкость, обычную для людей, которые знали друг друга в юности, а теперь тщетно пытаются связать концы оборванной нити времени; лёгкое беспокойство, вызванное не столько встречей друг с другом, сколько встречей с прошлым. Должна прямо сказать: никаких особенных чувств я к нему никогда не питала. Разве что любопытство, желание немножко помучить кавалера. Мне кажется, я никогда не была кокеткой, да в то время и не было принято у молодёжи заигрывать открыто друг с другом. Мне было любопытно поглядеть, как он будет реагировать на какую-нибудь туманную фразу, на какой-нибудь мнимо многозначительный взгляд. И ещё это чувство, известное каждой барышне: что надо кого-нибудь иметь возле себя про запас.

Мы сидели на кухне друг против друга, я угощала его. Наугад перебрасывались бессвязными фразами, он что-то спросил, я отвечала, всё это не имело никакого значения. Вся жизнь, как ни странно, не имела значения; мне не хотелось знать, что с ним стряслось, его не интересовала моя жизнь. Важно было далёкое прошлое. Только оно было интересно. И разговор мало помалу свёлся к бесконечным «а помнишь, как...» Вспоминали разные истории, перебивали друг друга, смеялись. И когда разговор начал истощаться и больше уже ничего забавного не приходило в голову, почувствовался лёгкий страх, что не о чем будет больше говорить, и мы всё ещё повторяли, как заведённые, чувствуя, что кончается завод: а помнишь?..

«Помнишь, как мы ходили всей компанией вечером по улицам, был Новый год, и прыгали через сугробы».

«И рисовали на снегу? Конечно, помню».

«А ветер какой был, помнишь?»

«Конечно».

«Но бури севера не страшны русской розе. Как жарко поцелуй...»

«Ну уж этого не помню».

«Да, конечно... А помнишь, — проговорил он, — как я тебе написал письмо?»

Тут я почувствовала, что он нарушил правила игры. Была как бы молчаливая договорённость: о чём можно вспоминать — и о чём не стоит.

Почему не стоит? Сама не знаю. Потому что ведь ничего из этого не вышло. Потому, что у нас н и ч е г о н е б ы л о.

Подумав, я спросила: «Откуда ты знаешь, что я его получила?»

«Я этого не знаю. Я до сих пор не знал. Значит, ты его всё-таки получила».

«Получила», — сказала я.

«Ну, и... как ты к нему отнеслась? Как ты его восприняла? Или ты уже не помнишь?»

«Я всё помню», — сказала я.

«И что же?»

«Я удивилась».

«И всё?»

«Я думала, что за этим последует какое-то продолжение».

«Ты хочешь сказать, вместо того, чтобы приступить к дальнейшим действиям, я молчал».

Я не удержалась от улыбки. «К каким же это дальнейшим действиям?»

Было ясно — что-то сдвинулось в эту минуту, и удивительней всего было то, что я почувствовала тревогу, хотя — я уже говорила об этом — никаких нежных чувств я к нему никогда не питала. Наш разговор за столом, весёлый и непринуждённый, даже немного растрогавший нас обоих, — кто же не умиляется воспоминаниям о том, каким он был, — наш разговор перешёл в другую тональность. В том-то всё и дело, что в этом прошлом всё было важно, включая и то, что казалось неважным. Шутки и смех прекратились, он вертел рюмку и был, казалось, целиком поглощён этим занятием.

«Можно тебе задать один вопрос?»

«Зачем?» — спросила я.

«Мне интересно. Скажи, пожалуйста... У тебя тогда кто-нибудь уже был?»

«Когда?» — спросила я, чтобы оттянуть ответ.

«В это время. Когда мы учились в консерватории».

Я пожала плечами: «Какая же девочка не увлекается».

«Я не об этом...»

«Зачем тебе знать. Разве теперь уже не всё равно? Хорошо, — сказала я, — тогда я тебя тоже спрошу. А ты, когда мы учились... Ты думал, что у меня никого не было? То есть считал меня девицей? Извини, — я засмеялась, — слово какое-то нелепое».

«Да», — сказал он серьёзно, и эта серьёзность мне понравилась. Мне нравилось, что он не иронизирует, не смеётся над нашей молодостью и не изображает из себя всё изведавшего скептика. Больше всего я не люблю наигранный скепсис, всегдашнюю манеру моего бывшего мужа.

«Да, — сказал он, — я был в этом уверен». Он подлил себе и мне. Глядя на его искалеченную руку, я пролепетала:

«Я не очень-то разбираюсь. Мне сказали, хорошее. Французское».

Он похвалил вино.

«У меня есть ещё бутылка».

«Допьём эту, примемся за следующую».

«А почему, — спросила я, — ты был так уверен?»

Он пожал плечами. «Уверен».

Я усмехнулась. «По-моему, ты тогда ещё тоже был девицей».

Он промолчал, и я продолжала: «Уж очень мы все друг друга стеснялись. Современная молодёжь даже не может себе этого представить. Пуританские времена были, ты не находишь?»

Он опять ничего не ответил, рассеянно кивнул.

«Конечно, мы были слишком молоды, то есть я хочу сказать, ты был слишком молод для меня. Если бы ты был хоть на пять лет старше...».

«Ты говоришь, тоже был девицей. Значит, и ты?»

«Удивительный вы народ, — я рассмеялась, — вам всегда надо знать. Неужели это так важно?»

«Важно».

«Не было у меня никого, — сказала я. — Ещё вопросы?»

Он откупорил вторую бутылку. У него было что-то с рукой, пальцы не разгибались до конца. Разливая вино по рюмкам, он пролил на скатерть и взглянул на меня с убитым видом. Мне стало его жалко.

«Ничего страшного. Это отстирывается».

Я подняла рюмку, выпили.

«Ну хорошо, — сказала я. — Был один случай. Я ездила летом к бабушке. У меня была бабушка в деревне, в Тульской области. Ну, и там был один парень, тоже приезжий. Глупость, одним словом. Больше никогда не повторялось. Ты разочарован?» — спросила я, улыбаясь. И он тоже усмехнулся, встал из-за стола и вышел в «большую» комнату. Я сидела на кухне и слышала, как он подбирал одним пальцем что-то. Потом сыграл кое-как несколько тактов из сонаты опус 90.

«Ты знаешь эту вещь?» — спросила я, входя в комнату. Глупый вопрос: конечно, он знал.

Он круто повернулся ко мне на круглом стуле, покрутился немного вправо-влево, это доставляло ему удовольствие, и сказал:

«Есть такой рассказ, по-моему, у Шиндлера. Бетховена спросили, что он хотел выразить этой сонатой»

«И что же он ответил?»

«Он ответил, что в первой части говорится о споре сердца с рассудком, а вторая часть — это беседа с возлюбленной».

«Знаешь что, — сказала я. — Ты всё время возвращаешься... По-моему, это ни к чему».

Я не задавала ему никаких вопросов, даже не спросила, женат ли он, точно с самого начала мы договорились, что будем говорить только о том, что касалось нас обоих. Я уже упомянула, как я была поражена происшедшей в нём переменой. Но теперь как будто начала привыкать, прежние черты проступили сквозь годы и невзгоды.

Да ведь и он, наверное, не обрадовался, увидев, какой я стала.

«Я ещё хотел тебя спросить».

«Ради Бога, не надо», — взмолилась я.

«Я хотел спросить... у тебя были тогда неприятности?»

По своей тупости я на этот раз не поняла, о чём он. Какие неприятности?

«Нас всё-таки часто видели вместе».

«А, — сказала я. — Да нет, ничего особенного не было».

«Тебя вызывали?»

«Всех вызывали».

«И что же?»

«Ничего. Расспрашивали о тебе».

«Что же ты ответила?»

«Я не помню».

Потом он спросил: знала ли я, что он вернулся. Знала, сказала я. Но ведь это тоже было уже давно. Наступила пауза. Я взглянула на часы. Наступила пауза, потом он спросил, знала ли я, что он вернулся. Знала; кто-то рассказывал.. Не хотелось говорить ему, что я редко о нём вспоминала. И вообще считалось, что оттуда не возвращаются.

Я взглянула на часы.

«У тебя дела?»

Вместо ответа я спросила: «Ты завтра уезжаешь?»

«Улетаю». Он жил где-то далеко, может быть, в тех же местах, где освободился.

«М-да. Ну что ж».

Он встал и подошёл ко мне. Я стояла лицом к окну. Вот так и бывает — люди встречаются, потом снова расстаются, на этот раз навсегда. Он медлил, переминался с ноги на ногу; может быть, ждал, что я скажу: побудь ещё немного. Мне хотелось, чтобы он ушёл.

«Что я хотел сказать... — проговорил он. — Послушай, Ира», — и положил руку мне на плечо. Я отстранилась.

«Хочешь, — сказала я, — посмотрим альбом?»

«Альбом?»

«Да. У меня сохранились фотографии».

«И мои?»

«Твои нет. К сожалению. Сам понимаешь... Ладно, — сказала я, видя, что моё предложение не вызывает у него интереса, — пошли, выпьем на посошок».

«Слушай, — сказал он быстро, — только не удивляйся. И не говори сразу нет. Это, конечно, смешная идея, нелепая идея, но мы больше не увидимся. А может, и не такая нелепая... Мы не увидимся. Я хочу сказать, что... Ну, в общем, жизнь прошла!»

Я рассмеялась: «Это ты и хотел мне сообщить?»

Не отвечая, он отодвинул меня от окна и одним движением задёрнул шторы.

«Что ты делаешь, зачем?»

«Свет. Слишком яркий свет, — сказал он. — Ира, мы можем возместить».

Я ничего не понимала.

«Мы можем возместить, — повторил он тупо. — Не говори нет. Пожалуйста».

«Что возместить?»

«То, чего мы не сделали. То, что мы потеряли».

Я спокойно возразила: «Я ничего не потеряла».

«Нет, мы потеряли. Ира, это моя просьба. Не возражай».

Тут, наконец, я упала с облаков. И, конечно, сказала самое банальное, что говорится в подобных случаях:

«Ты с ума сошёл!»

«Нет. Не сошёл», — сказал он, не спуская с меня глаз, а вернее сказать, глядя сквозь меня. И добавил:

«Я ради этого приехал».

«Ага; вот как. Ты для этого приехал, — сказала я со злостью. — Спихватился. Через двадцать пять лет».

«Ира».

«Что Ира? Вот ты всё допытывался — была ли я с кем-нибудь и всё такое... А я, может, назло тебе... — Должна сказать, только теперь эта мысль пришла мне в голову. Но казалась мне очень убедительной. — Знаешь, как я была на тебя зла?»

«За что?»

«За что... Неужели непонятно? За то, что ты был мямлей, вот за что!»

Он подошёл к нише. «Э-э! — сказала я. — Ты что делаешь?»

Откинул занавеску.

«Между прочим, мой сын должен сегодня прийти», — заметила я.

«Не придёт», — сказал он.

Я вздохнула. Это было чудовищно — то, что он хотел со мной сделать. Я сказала: «Образумься. Возьми себя в руки. В нашем возрасте!.. Лучше попрощаемся, и... будет хорошая память, как мы встретились...»

Он ничего не ответил.

«Мы ведь всегда были друзьями, а?»

Молчание.

«Ну, и, наконец — я просто не хочу!»

«Угу», — отозвался он.

Он был целиком поглощён своим занятием. Хмурый и озабоченный, снял покрывало, сложил аккуратно и, не зная, куда деть, повесил на спинку кровати. Из-под подушки вынул мою ночную сорочку, тоже повесил. Отвернул одеяло. Я следила, обалдев, за его движениями.

«Послушай. — Я предприняла последнюю попытку: — Неужели мы не можем без этого обойтись?»

Он покачал головой.

«Мы, в нашем возрасте?..»

Всегда лезут в голову нелепые мысли: я подумала, что на мне неподходящее бельё. «Выйди, — сказала я. — Ну, пожалуйста».

Когда он снова вошёл, — видимо, думал, что я приготовилась, — я стояла, не зная, что делать. Я уж не говорю о том, что тут было нарушение всех правил, тех правил, которые вбиты нам в голову чуть ли не с детства, что всё должно происходить без твоего участия, как бы против твоей воли. Интересно, как ведут себя молодые девицы сегодня? У меня был взрослый сын, но он мне ничего не рассказывал.

«Он должен скоро придти», — сказала я.

«Он не придёт».

«Откуда ты знаешь? А если придёт?»

«Мы не откроем».

«У него есть ключ».

«Ты оставишь свой ключ в двери, он не сможет открыть».

«Но он подумает, что со мной что-то случилось!»

Это уже напоминало какую-то торговлю. Он держал свои руки у меня на плечах, мы смотрели в глаза друг другу, смешно сказать — я почувствовала себя какой-то несчастной, у меня даже вернулись слёзы. Мы смотрели друг на друга, но думала я не о нём, а о себе. Я невысокого роста, с юности была расположена к полноте. После родов похудела. Не могу сказать, что я вела сытую и довольную жизнь, вот уж нет. Нахлебалась достаточно. Может быть, и есть на свете счастливые женщины, только не у нас. Как и большинство, после сорока я стала полнеть. Толстой я не могу се-

бя назвать. Определённую роль сыграло то, что на мне была белая блузка, это опасный цвет. С одной стороны, он молодит, придаёт женщине свежесть. У меня всегда была нежная, молочно-белая кожа. Белый цвет идёт ко мне, моя кожа начинает светиться. Зато тёмные цвета придают ей болезненный вид. Моя мама всегда говорила мне: не носи тёмное, в тёмном ты выглядишь хворой. А с другой стороны, в белом расплываешься. Начинает выступать живот. Конечно, от талии мало что осталось. У меня довольно полные груди, но не оттого, что я пополнила. У меня всегда были полные груди. Говорят, это сочетается с глупостью. Становишься похожей на корову.

Счастье ещё, что в комнате было сумрачно, меня обуял страх. Я боялась, что он увидит меня и я покажусь ему безобразной, я хотела, чтобы ничего не вышло, и боялась, что ничего не выйдет: как мы тогда посмотрим в глаза друг другу? В панике я пятилась и неожиданно села на кровать. А как же ключ, подумала я. Мы сидели рядом. Я прикрыла себя смятой блузкой, сунула лифчик под подушку. Он наклонился и стал у себя развязывать шнурки ботинок. Шнурок не развязывался. Не выйдет, ничего не выйдет, подумала я. Сейчас я вскочу и выбегу на лестницу; самый подходящий момент. Мне стало холодно. Он встал и задёрнул занавеску искалеченной рукой, и мы оказались внутри, словно в купе вагона. Я подняла на него глаза, он был в трусах и носках и очень худ. И я не могу передать, как мне вдруг стало ужасно его жалко. Я послушно сняла всё, что на мне ещё оставалось. Я спряталась от него под одеяло, подальше, к самой стене, взглянула украдкой — на нём уже ничего не было, и, глядя на него, я испытывала не возбуждение, а сострадание.

Это было странное чувство горечи, жалости, сострадания даже не к нему, к товарищу юности, срубленной нашим злодейским временем, это была жалость к бедному человеческому телу, и, обнимая его, я гладила это тело, гладила костлявые плечи, лопатки, косточки позвонков и ложбинку на пояснице. Я знала, что ничего у нас с ним не получится, когда-то он был для меня чересчур молод, теперь я была стара для него, но меня это уже несколько не волновало. Я отвечала его поцелуям, гладила и утешала его, утешала, потому что для мужчин это вопрос самолюбия, глупой чести. Я грела его своей грудью и животом, мне хотелось сказать ему:

всё хорошо, полежим спокойно. Но почувствовала его настойчивость, почувствовала боль и давно не испытанное ожидание близкого счастья.

Несколько времени погода задремывал звонок, это пришёл, как я и предполагала, мой взрослый сын. Я быстро оглядела комнату, взглянула на себя в зеркало и вышла в прихожую. «Кто там?» — спросила я и открыла дверь, на площадке никого не было. Ни шагов на лестнице, ни звуков лифта. На случай, если дверь захлопнется, я захватила ключи, сошла вниз на несколько ступенек, вглядывалась в пролёт. Ни звука во всём доме. Я вернулась в прихожую и слушала эту мёртвую тишину, в которой мне всё ещё чудились шаги гостя.

ТЕРЕЗА ШЕРВАШИДЗЕ

Она сказала: «Мой род, род владетельных князей, правивших Абхазией и частью Грузии, известен с одиннадцатого века. Мы, абхазы, не христиане и не мусульмане, мы исповедуем нашу собственную религию, веру в единого, вездесущего и невидимого Бога, с незапамятного времени, несколько тысячелетий тому назад и раньше иудеев».

Доктор продолжал:

«Знакомство наше было заочным. Один приятель, между прочим, довольно известный литератор, попросил меня положить к себе в отделение больницу.

Что с ней, спросил я.

Боли в сердце, просит порекомендовать ей хорошего врача. Я подумал о тебе...

Спасибо, сказал я и задал ещё несколько обычных вопросов.

Двадцать девять лет, не замужем, приехала с матерью из Сухуми, с тем, чтобы её обследовали в московской клинике. И знаешь, добавил он, кто она такая? Настоящая грузинская княжна! Или абхазская, точно не знаю.

Итак, слушайте. Был пасмурный ноябрьский вечер. Я только что уложил мальчика, потушил в спальне свет. Мы были одни, жена уехала в деревню к умирающей бабушке. Я брал с собой пятилетнего сына на работу, сёстры в моём кабинете усаживали его с бумагой и цветными карандашами за стол.

Сию, следовательно, на кухне. Вдруг раздался звонок. Отворяю — она, в мокром плаще, вола льётся с широкополой, странной какой-то шляпы. Дальнейшее понятно само собой, её растерянность, извинения, я изображаю гостеприимного хозяина, помогаю раздеться, показываю куда идти, подробности несущественны.

Тереза была в нарядном золотисто-зелёном платье, невысокая, бледная, темноокая. густобровая и занавешанная длинными ресницами, как у княжны Мэри, — вспомнился Лермонтов. Красивая, надо признать. Я добыл кое-что из холодильника, расста-

вил тарелки, пузатые коньячные бокалы, выставил низкорослую, уже початую бутылку, нарезал по-русски лимон. И мы оказались тет-а-тет за импровизированным столом, изо всех сил стараемся преодолеть неловкость, благодарная пациентка вручает мне сувенир, кавказский рог для вина, пластмассовую имитацию, они везде продаются. Сидим, и я посматриваю на неё и вижу её, какой увидел при первом осмотре, как врач видит полуобнажённое женское тело, привычно отключая в себе мужчину: худенькие плечи, ключицы, небольшие, слегка расставленные, прекрасно вылепленные, не кормившие никого груди.

Она спросила, бывал ли я в Абхазии. Я рассказываю, о чём всегда рассказывают туристы и, разумеется, известное моей госте. Знаменитая реликтовая сосновая роща в Пицунде. Огромная чугунная Медея с детьми, неожиданно покосившаяся, оттого что песчаный берег, который лижут волны, не выдержал груза. Что ещё? Заброшенный, весь в трещинах и подтёках Свято-Пантелеймоновский монастырь в Новом Афоне, с полустёршейся аквамариновой росписью, с ослицей Христа, которая поворачивает голову вам навстречу, когда вы идёте мимо. Мраморная мемориальная доска в честь посещения этого края их императорскими величествами и высочествами. Долина реки Псырцха, каменистой, прозрачной, холодной, как лёд, поросшие ласковой муравой холмы и отвесные скалы, тесный вход в пещеру Симона Канани-та... Княжна Шервашидзе слушает и вежливо кивает. А я, глупец, надеюсь, что мои тривиальные воспоминания польстят ей...

Но, чёрт возьми, я знаю, догадываюсь, о чём она думает.

Княжна думает об одиночестве. О том, что в её жилах течёт древняя кровь, а в мозгу мается, мытарствуется усталая душа поколений. И нет ей равного в родном углу, мужчины не родовиты и не рыцарственны, и не нашлось, кому подарить свою девственность, а между тем её время уходит. И тело заждалось младенца, и тревожит колотье в сердце, а врачи ничего не находят. И ещё она думает о том, что, быть может, ей всё-таки повезло. Попался вдумчивый врач. О бесстыдной отваге явиться к нему без спроса чуть ли не в полночь, если бы только он не был женат!

Я предложил Терезе вызвать такси, заплачу ему вперёд. Она отказалась. На другой день я не застал её в больнице. Мне доложили, что она настояла на выписке, получила врачебное заключение и исчезла».

ЕЁ ВЫСОЧЕСТВО

Историю сочинил не я; старый приятель, посредственный беллетрист, сказал:

«Во всех странах столицу украшает мемориал Неизвестного Солдата. Почему бы ни ставить перед зданиями библиотек памятники Неизвестному Читателю? Посвящаю вам сей труд, друг мой, будьте моим читателем».

Итак, привожу его здесь.

Дом, издали неприметный, мог показаться (или оказаться) замком, если бы удалось тайком проникнуть внутрь. Никому не дано было знать об этом (счастливы были мы), никто ни о чём не подозревал, ни гостившие в деревне у бабушки родители девушки, ни соседи по лестничной площадке, вечно сидящие взаперти в страхе перед бандитами, уличными попрошайками и милиционерами, которые мало чем отличались от бандитов. Это был старый дом, переживший войны и революции.

Оба вошли украдкой в подъезд, девушка держала мужчину за руку. Отключили свет. Приключение напоминало мальчишескую выходку. В полутьме, смеясь, взобрались по выщербленным ступеням. Дом казался вымершим. Лифт заставил себя ждать.

На площадке нижнего этажа сквозь пыльное слуховое окно сочился сумеречный день. Двинулись выше, в окна мерещился бесконечно далёкий город. Обитатели дома, если кто-нибудь здесь существовал, таились за дверями квартир без номеров.

Заговорщики обнялись. Оба — пожалуй, это больше относится к водителнице — сгорали от нетерпения. Девушка первой побежала наверх. Спутник крупно перешагивал ступени. Мимо, мимо, — лестнице не было конца. Наконец, последний этаж, правильной будет сказать, предпоследний. Любовники догадались, что находятся в башне.

Оставалась лишь узкая лесенка с железными перилами; там, под самым потолком, их поджидала тайная дверца. На двух петлях висел замок. Ключ нашёлся у предусмотрительной подруги,

пронзительно закрипела скважина. Мужчина усмехнулся, видя в этом непристойный символ. Молча балансировали в полумраке на цыпочках, пригнувшись под стропилами потолка. Женщина оставилась в нерешительности. Мужчина приблизился к чердачному окну. Снаружи был виден мокрый скат крыши, шёл дождь. Тут кое-что переменялось.

Девушка стояла перед зеркалом. Призрачно серебрящееся волшебное стекло помнило томных красавиц, глядевших в него два века назад. Зеркало повело своё прошлое. Оглянувшись, мужчина увидел чопорную фрейлину, наблюдавшую за церемониалом отхода ко сну, вокруг суетились камеристки. Ливрейный лакей держал зажжённый канделябр. Груды рубиново-алых углей переливались в камине опочивальни. И было слышно, как дождь наверху барабанит по кровле.

Худенькая, стройная, как стебелёк, принцесса была раздета, облачена в белое брачное одеяние. Тяжёлый, затканый гербами балдахин над ложем раздвинут. Девушка лежала, укрытая до подбородка, смежив ресницы. Мужчина сбросил все, что было на нём. Чертог опустел, и девушка откинула край одеяла. Время замедлилось, мгновения слились в непроницаемую вечность. Дождь не утихал. Оба видели одно и то же. Оба незаметно проникли в холодный полутёмный подъезд. Дрогнули канаты, коробка лифта послушно спустилась и осветилась. Дом был погружён в молчание, словно никто там не жил, и девушке, всё ещё дремавшей обняв мужчину, обессилевшего в акте продолжения рода, показалось, что оба они умерли. Никому ничего не было известно, всё осталось тайной для всех, кроме пишущего о них. Мужчина стоял в театральном плаще и шлеме. Отворив чердачное окно, рукой в перчатке манил к себе. Принцессе было холодно. Он протянул руку и помог перешагнуть на кровлю.

Дождь прекратился, проснулось солнце, и над заблестевшими крышами Валгаллы воздвигся многоцветный мост. Оба двинулись вверх по радуге, словно вагнеровские боги.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. РОДНИКИ И КАМНИ

РОДОСЛОВИЕ

У ворот Рима сидит прокажённый нищий и ждёт. Это Мессия. Чего он ждёт? Кого? Тебя.

Эпиграф к роману «Антивремя»

Тысяча лет в глазах Твоих, как день вчерашний, что минул, как стража в ночи. Как наводнением уносишь людей.

Молитва Моисея (псалом 89)

У каждого из нас есть мать и отец, у родителей были свои родители, предки и предки предков; продолжая эту геометрическую прогрессию, я прихожу к выводу, что за спиной у меня толпится, неузнанное и не сосчитанное, всё человечество.

Маргарите Юрсенар принадлежит мысль о том, что происхождение рода надо представлять себе не в виде разросшегося дерева — генерального ствола с именем родоначальника, и венчающей его густолиственной кроны потомков с их ответвлениями собственного потомства. Наоборот: генеалогическое древо растёт как бы вверх ногами, начинается от вершины и тонет в закатном небе времён, с последними отраслями неумолимо угасающего рода.

Вдохновлённый одиночеством, чтением и воспоминаниями, я отваживаюсь писать о собственном происхождении, не смущаясь тем, что мой род не выдвинул знаменитых людей, вообще ничем не замечателен, хоть и несёт на себе из поколения в поколение отсветы судьбы своего народа, страны и эпохи. Считать ли эту отмеченность преимуществом, подарком богов или возмездием? За что? Во имя чего? Я начинаю с вопросов, на которые вряд ли кто-то в состоянии дать аргументированный ответ. При первых же попытках разобраться в прошлом разум сталкивается с абсурдом. История нашего века — царство абсурда. Суровый Бог Пятикнижия, Бог Спинозы,

Монтеня, Пруста, Малера и Эйнштейна, научил свой народ самим фактом его похожего на бессмертие существования противостоять абсурду истории.

Мне неизвестны предки, к которым предположительно восходит мой род, — и не он один, — я могу судить лишь о том, откуда произошли пращуры мои, пожранные, как выразился русский поэт, жерлом вечности.

О них я ничего не знаю. Известно только, что на жарком Переднем Востоке они были земледельцами и пастухами, после долгих кочевий, потеряв свою землю, стада и богатства, рассеялись по египетскому, греческому и романскому Средиземноморью, пережили Персидское царство и Халифат, расселились в Священной Римской империи. Гонимые отовсюду, подались на славянский восток. В конце концов, после третьего дележа Польши, они стали добычей хищного двуглавого орла. Тысячелетия приучили их глядеться в мёртвые воды колодца, называемого историей, и видеть там своё отражение. Так они прибыли в новый Ханаан — Россию. Ум, не изверившийся в историческом разуме, нашёл бы такой финал провиденциальным.

Мой отец проложил тропу, по которой бредёт моя жизнь: он остался один у меня, когда в 1934 году умерла моя мать, как я остался с моим сыном после смерти Лоры в 2007 году.

Мой отец родился одновременно с веком, в январе 1900 года, в городке Новозыбков Брянской губернии, возникшем на исходе XVII столетия из слободы бежавших от преследований старообрядцев. Впоследствии, после второго раздела Польши, по указу императрицы (спровоцированному, как считают, письмом некоего витебского купца по имени Цалка Файбушович) с предложением ввести «черту постоянной оседлости евреев», Новозыбков с округой, как и находящийся в двухстах верстах от него белорусский Гомель, родина моей мамы, оказался внутри этой, назовём её роковой, черты.

Папа был младшим сыном еврейского ремесленника Грейнема Файбусовича, о котором мне известно, что он был книжник, знаток Закона, и умер в 17-м или 18-м году, сорока лет с небольшим, оставив без средств многодетную семью.

В телефонной книге «Весь Ленинград» на 1926 год я нашёл двух Файбусовичей под одним абонентным номером: это были мой отец Моисей Григорьевич и его старший брат Исаак Григорьевич, дядя Исаак, ненадолго переживший моего папу. Вначале 20-х оба оставили родные места и поселились в Петрограде, вскоре переименованном в Ленинград; отец, окончивший новозыбковское коммерческое училище, намеревался продолжить образование во второй столице, поступил в Технологический институт, но оставил его за недостатком средств. Он стал служащим в каком-то из государственных учреждений, к этому времени уже был женат; в 1928 году появился на свет будущий составитель этой хроники. Не могу сказать, кто из родителей придумал моё неупотребительное имя Героним, гибрид древнееврейского Грейнем и греческого Иероним. Иронический экивок истории видится мне в том, что моим тёзкой, тёзкой иудея, оказался отец церкви Блаженный Иероним, высокоучёный аскет IV века, создатель латинской версии Ветхого и Нового Заветов и, по некоторым предположениям, глаголической азбуки.

Я никогда не видел моего голубоглазого, рыжебородого деда, ушедшего из жизни незадолго до моего рождения. Он был, как уже сказано, ремесленник, бедняк, считался знатоком Торы и Талмуда. От него не осталось портретов, не осталось ничего. От него остался я — и через дальние годы мои полувзрослые американские внуки.

Ничего не знаю и о предках с материнской стороны, но помню мою мать, Розалию Павловну (Пинхусовну), урождённую Рубинштейн, молодую женщину, умершую, когда мне было шесть лет; по-видимому, семья её родителей была достаточно состоятельной, чтобы дать возможность дочери окончить Петроградскую консерваторию по классу фортепиано. После смерти мамы в доме хранились кипы нот в твёрдых переплётках, издания славного Юргенсона, исчерканные моими каракулями; однажды попался мне листок с карандашным портретом Римского-Корсакова.

Я думаю, что во мне сказалось двойное наследство — противостояние слова и музыки.

Привязанность к Слову, к листу бумаги, к начертанию букв (я придумывал и собственные) проявилась у меня чуть ли не с раннего детства, она передалась от деда и через него — от бесконечной череды согбенных книжников, толкователей священных

текстов, столбцов прямоугольных букв с локонами, похожими на пейсы. А мою любовь к музыке, жизнь в музыке я получил от матери.

Я стал волей судеб писателем, потому что Слово для меня — воплощение логики, ясности и дисциплины, и эти начала сталкиваются и сливаются с тем, что не поддаётся переводу на язык слов, — с музыкой. Проза есть царство разума, но его размывают волны музыки, как ночь размывает день. Не оттого ли возделенная чистота и логическая упорядоченность прозы мешаются в моих писаниях с фантастикой, с искривлёнными зеркалами, с безответственным отношением к времени, с мертвящим, как взгляд василиска, неверием в благость Творца и сомнениями в разумном мироустройстве.

К тому, что уже сказано здесь о моей матери Розалии Павловне (Пинхусовне) Файбусович, в девичестве Рубинштейн, можно добавить немного. Она была моложе моего отца на один год. Скончалась в апреле 1934 г. от ревматического эндокардита и декомпенсированного митрального порока сердца в московской Басманной больнице, в возрасте тридцати трёх лет. Двумя годами раньше, в 1932-м, родители вместе со мной переехали из Ленинграда в Москву и поселились в Большом Козловском переулке, поблизости от Красных Ворот и Чистых Прудов. Двойственность рано дала себя знать и тут: я вырос в двух столицах, меня воспитали мой отец и домработница, русская крестьянка Анастасия Крылова. Она меня любила, я помню её и буду помнить до конца моих дней. Её образ отразился в моём романе «Я Воскресение и Жизнь», хотя реальная Настя не была религиозной (папа тоже был равнодушен к религии), в церковь не водила меня и не рассказывала ребёнку эпизоды из Евангелия; зато помню, как она читала мне наизусть «Дядюшку Якова», который до сих пор остаётся моим любимым стихотворением Некрасова.

Детство от шести до двенадцати лет (когда отец женился на Фаине Моисеевне Новиковой, дальней родственнице, гомельчанке, в юности знавшей мою мать и влюблённой в моего отца, вдове расстрелянного в годы ежовщины отца моего сводного брата Толи, которого мой отец усыновил после женитьбы), — детство, говорю я, насыщено памятью об отце до созвучия с иудейским архетипом всемогущего Отца в такой степени, что я помню, вижу воочию по сей

день мельчайшие подробности моей жизни, которую он осенил. Я не раз возвращался к моему детству, раннему и «позднему», в своих сочинениях.

Он был красивым мужчиной, брюнетом с зелёными глазами. В детстве казался мне высоким, но на самом деле был среднего роста. У меня сохранилась фотография: я на руках у папы, мне, вероятно, один год, у папы на пальце обручальное кольцо.

В первых числах июля рокового 1941 года он записался в народное ополчение. Трагическая судьба этого войска, брошенного командованием на произвол судьбы и почти полностью погибшего во вражеском окружении в заснеженных лесах между Вязьмой и Смоленском, — одно из бесчисленных преступлений советского режима и его вождя-каннибала.

Отец выжил, сумел выбраться и вернулся в Москву. Как все бывшие фронтовики, он не любил говорить о войне, но однажды рассказывал, как, блуждая в неизвестности, он заночевал в избе, в какой-то деревне. В дом вошёл немецкий патруль: молоденький офицер и два солдата. Офицер спросил, показав пальцем на моего отца: это кто? Partisan, Jude? Отец, которому был 41 год, оборванный и, обросший седой бородой, выглядел крестьянином много старше своих лет. Хозяйка ответила: он из нашей деревни. Патруль ушёл.

Офицерик прибыл в Россию из страны, где я живу теперь много лет. Кто знает, быть может, его фотография в траурной рамке стоит до сего времени в углу на столике в каком-нибудь близлежащем немецком доме.

Отец умер в ноябре 1971 г. от злокачественного заболевания крови — эритремии, в возрасте семидесяти одного года. Нынче я намного старше его.

Сопоставление дат напоминает игру в кости, и оно же делает жизнь похожей на путаный, не в меру затянутый и кишачий неувязками роман — творение малоодарённого беллетриста. Впрочем, приходят в голову и другие сравнения: сон, оркестровая партитура...

Видно, такова человеческая натура, если сон, сновидческая активность мозга, нечто призрачное и обманчивое, узурпирует права рассудка, посягает на суверенность нашего «я», принимает решения. Однажды, лёжа в больничной палате после несчастного случая, в одну из тех тягостных ночей, когда теряешь способность от-

личать действительность от хаотических грёз, я набрёл на мысль подвести чёрту. И вот, возвращаясь к ней. Мне 88 лет. Я многое видел. Кое-что написал. Моя жизнь лежит передо мной, в самом деле как некая партитура, — но кто стоял за дирижёрским пультом?

Словно веку назло, наперекор несчастью родиться в несвободной стране, мне всё же отчасти, в некоторых отношениях, повезло. Потомок иудейских предков, я избежал газовой камеры. Не окопел в лагере. Был рождён и вырос в русском языке, почему и обрёл себя почётной, хоть и не слишком выигрышной участи русского писателя. Наконец, встретился с девушкой, которая стала женщиной моей жизни (и без которой влачу теперь остаток дней). Тридцать лет тому назад мы оставили родину, ставшую чужбиной. Изгнание спасло мне жизнь, избавило нашего сына от дискриминации и нищеты, дало мне возможность отдаться литературе. И вновь буравит сознание тот же вопрос: кто был дирижёром, исполнившим сочинение анонимного композитора перед пустым залом?

РОДНИКИ И КАМНИ

Наклонись над струйкой, следи за тем, как вода вырывается из-под камня, скользит и вьётся, и вливается в озерцо. И, успокоившись, течёт между травами и корнями деревьев, по песчаному руслу. Проводи её глазами, покуда она не исчезнет из виду. Сколько времени понадобилось воде, чтобы пробиться сквозь толщу земли, отыскать трещину в окаменелостях далёкого прошлого, растворить в себе соль веков. Подумай о том, что твоя жизнь, единственная, замкнутая в себе, на самом деле только пробег ручейка от порога к другому порогу: не правда ли, мы не догадывались, что в нас продолжается подземный ток, что ты сам — бегущая вода. Из тёмных недр прорывается безмолвие голосов, так бывает во сне, так даёт о себе знать череда предков, ты понятия не имеешь о них. А между тем ты их продолжение. Ты весь составлен из подробностей, накопленных ими, ты их совокупный портрет. Ты сбрываешь рыжую, уже поседевшую щетину на щеках — её оставил тебе в наследство пращур, современник царя Давида, а ему — патриарх Иаков, тот, кто поцеловал у колодца смуглую девочку с тёмными сосками, с лоном, как ночь, и с тех пор чёрная и рыжая масть спорили в поколениях твоих предков. Ты вперяешься в молочный экран и раздумываешь над каждой фразой, лелеешь и пестуешь язык, это потому, что твой согбенный прадед весь век вперялся в зеркальные строки квадратных букв с заусеницами и обожествил алфавит. Ты лежишь на пороге своего дома в Вормсе, в годину чумы, с проломленным черепом — тебя обвинили в распространении заразы. О тебе в Кишинёве сказал поэт: встань и пройди по городу резни, и тронь своей рукой присохший на стволах и камнях, и заборах остывший мозг и кровь комками; то — они. Их уличили в том, что они — это они, а не кто-нибудь другой. Ты в очереди перед газовой камерой, и рядом стоит твой соплеменник, босой пророк из Галилеи, царь иудейский, чтобы вместе со своей верой, которую он возвестил в Иерусалиме, со всеми вами вдохнуть циклон Б и сгореть в печах. Потому что заодно с теми, кого изгоняли и убивали из века в век за несогласие при-

знать Иисуса Христа богом и, наконец, сожгли в печах, сгорело и христианство. Да, мы древний народ, мы поплавок, качающийся на поверхности взбаламученных вод, там, где на страшной глубине, занесённые илом, лежат целые цивилизации. И вот теперь ты остановился, тайный двойник, соглядатай, в зелёном лесу, и не можешь оторвать взгляд от родника — что́ стоит копнуть лопатой и засыпать его землёй!

ПИСЬМО К СТАРОЙ ПРИЯТЕЛЬНИЦЕ, ИЛИ МАЛЕНЬКИЙ ТРАКТАТ О ЛЮБВИ

Вполне возможно, что женщины, которых мы целовали, как и места, где жили, на самом деле не таят в себе больше ничего из того, что заставляло нас любить, возжелеть, жить там, бояться потерять возлюбленную. Искусство, притязующее на сходство с жизнью, дискредитирует драгоценную правду впечатлений и воображения и тем самым уничтожает единственно ценную вещь. Но зато, изображая ее, оно придает ценность вещам самым заурядным.

Из записных книжек Марселя Пруста

Дорогая!

Заголовок, который я поставил здесь, позабавит, а может, и отпугнёт вас: наши отношения всё-таки не настолько конфиденциальны, чтобы позволить мне без стеснения распространяться перед вами на весьма деликатные темы. Трактат о любви, скажете вы, вот-те раз! Кому нужна вся эта философия?

Сидя перед листом бумаги за столом, на котором, кажется, ещё совсем недавно возвышался похожий на мемориал письменный прибор дедушки, а за ним и моего отца, обмакивая ручку в чернильницу и держа наготове пресс-папье, я чувствую себя могиканином эпохи, когда умная машина не отучила ещё людей пользоваться таким архаическим инструментом, как стальное перо, а интернет не доканал традицию эпистолярной прозы. И, однако, я возвращаюсь к надоевшей вам, должно быть, привычке напоминать о моём существовании.

О чём же мы будем беседовать... Что нового может сообщить, чем вас развлечёт корреспондент, для которого всё новое — давно известное старое?

Заговорив о почтовой прозе, я стал думать о том, какое значение имели письма в моей до неприличия затянувшейся жизни, — и вот вам тема! Начать хотя бы с одного примера.

Я знал, не мог не знать, что письмо *оттуда*, сама попытка связаться с внешним миром, кроме ближайших родственников (к ним разрешалось написать один раз в месяц открытку без заведомо секретных подробностей, с закодированным обратным адресом), подвергает опасности адресата, — хотя какой именно опасности, какому риску, об этом можно было только гадать. Все законы и постановления на этот счёт были секретными, как и самый факт существования концлагерей, — слово это принадлежало ко множеству непризнанных.

Не мне вам рассказывать, дорогая, что мы жили в заколдованном государстве, допускавшем лишь изъявления безграничной преданности и благодарности. Всякая секретность порождает адекватное ей ханжество, и запретность этих слов должна была означать, что ничего подобного нет и не было в нашей самой счастливой стране. Не было никаких лагерей, не существовало и нас, неупомянутых обитателей этого тщательно закамуфлированного мира, — совершенно так же, как для ребёнка, которому родители запретили произносить нехорошие слова, не должно было существовать ни частей тела, ни органов, обозначаемых этими словами, ни всего того, для чего предназначены природой эти органы.

Так вот, мадам, — если вернуться к начатому, — я вполне отдавал себе отчёт в том, что две-три строчки, которые я осмелился каким-то образом направить из заключения девушке по имени Ирина Вормзер (и на которые, разумеется, не получил ответа), могут причинить ей неприятности. И всё-таки послал — зачем? Считать ли это мальчишеской бравадой, оправдывать его тем, что мне тогда шёл двадцать второй год? Сознаюсь, поступок этот в самом деле выдавал в уже взрослом человеке и политическом заключённом подростка, для которого самое важное — произвести впечатление, козырнуть перед девочкой, дать понять, что к ней равнодушны. Главное, *сказать* ей об этом. Инфантильность была характерной чертой нашего поколения, об этом лучше поговорим ниже. Между прочим, позднее, много лет спустя, выяснилось, что послание моё всё-таки дошло, и притом без всяких последствий для Иры.

Любовь, говорит рассказчик у Пруста, это всего лишь плод нашего воображения (или, ещё определённой, «негатив нашей чувственности»). Мы любим не реальную, обыкновенную девушку, какова она в жизни и за кого сама себя принимает, — но ту, какой мы её себе представляем. История моих отношений с Ириной Вормзер

(надеюсь, вы догадались, читая некоторые из моих сочинений, где она — главное действующее или скорее недействующее лицо, что имя это вымышлено) — история наших взаимоотношений, говорю я, лишний раз подтверждает убийственную правоту автора «Поисков утраченного времени».

Здесь, я думаю, кроется и ответ, зачем мне понадобилось переименовать её. Новое имя преображает его носителя, и я почувствовал, что должен описывать мою психику не совсем такой, какой я её знал, но той, чей образ некогда рисовало мне моё воображение. Литература — это воображение. И вот теперь, вспоминая далёкие времена и один эпизод, сам по себе совершенно незначительный, но врезавшийся в память, я спрашиваю себя: была ли эта Ира Вормзер, носившая тогда своё настоящее имя, реальной Ирой, а не иллюзией семнадцати-восемнадцатилетнего юнца?

Я чуть было не начал это письмо с упоминания о другом письме. Ослепительная идея объясниться в любви таким способом впервые осенила вашего корреспондента. Письма, как верстовые столбы, разметили мою жизнь. Письма обозначили эпохи жизни. Вы, дорогая, знакомы с моими сочинениями; не устаю благодарить вас за терпение и снисходительность. Прочитав в отрочестве письма Герцена из владимирской ссылки к кузине Наталье Захарьиной, я заболел эпистолярной манией, и первым её симптомом было письмо к 20-летней Нюре Приваловой, написанное во время войны в эвакуации, в спальном бараке, при свете коптилки, тайком опущенное той же ночью в сельский почтовый ящик, письмо, сочинённое с единственной целью: пусть она знает! За этим отважным поступком последовало возвращение в Москву, университет, первый курс... и снова письмо — к кому же? Вы улыбаетесь... Разумеется, к той, кому я много позже в своей литературе присвоил имя Иры Вормзер. Не буду сейчас о нём. Как вы теперь знаете, оно не было и последним. Замечу лишь, что эти письма-объяснения, подобно письму Татьяны (которому я, конечно же, невольно подражал), скорее вредят их авторам, — впрочем, об этом ниже. Итак, довольно о письмах; перейдём лучше к эпизоду, о котором я мельком и, может быть, неосторожно упомянул выше.

Если верно, что юношеская любовь, которая почти всегда остаётся безответной, может чему-то научить, подобно тому (смелое сравнение!) как музыка гениального композитора постепенно, по мере того, как мы её осваиваем, в итоге оказывается откровением

нашей жизни, — если, говорю я, юношеская влюблённость представляет собой урок жизни, то правда и то, что увлечение Ирой Вормзер научило меня, в чём я убеждаюсь много лет спустя, кое-чему, во всяком случае, подарило мне две-три темы для будущего писательства. Упомяну примечательный парадокс: невозможность раздвинуть таинственную завесу, которую я сравнил бы (не довольно ли, однако, литературных реминисценций?) с покрывалом Изида у Новалиса. Юный Гиацинт приподнимает покрывало, скрывающее некую истину, и оказывается, что возжеленную тайну воплощает его возлюбленная, неуловимая Розенблют. В моей ситуации было нечто комическое: я знал, узнавал Иру, словно книгу, зачитанную до того, что из неё можно цитировать наизусть целыми страницами; я знал во всех подробностях её убор, причёску, походку, черты лица, манеру поправлять упавший на висок завиток бледно-золотистых волос, издавдала угадывал звук её шагов, замечал её в толпе сверстниц, закрыв глаза, видел её всю... а вместе с тем не решался её разглядывать, не мог себе представить, что найду случай ненароком коснуться её одежды. Она была для меня восхитительной плотью, и, однако, я не мог, не смел и не умел вообразить её хотя бы наполовину обнажённой. Было просто невысказано поднять покрывало над её тайной, не оскорбив при этом, пусть мысленно, её целомудрие и не посягая на её а priori принимаемую теоретическую невинность. Была ли она «невинной»? Впрочем, в те времена, в пуританском обществе, воспитавшем нас, презумпция девственности была чем-то само собой разумеющимся. Сегодня, после всех пронёсшихся надо мною лет, я сумел бы, призвав на помощь свою литературную искущённость, а лучше сказать, испорченность, разоблачить тайну, или, что то же самое, истину — описать её тело юной, только что созревшей женщины, каким оно ныне предстало моему воображению, — если бы не опасение шокировать вас, дорогая. Вы поверите мне, если я вам скажу, что никогда не помышлял о том, чтобы соединиться с Ирой, обладать ею.

Но я отвлекся; будем продолжать.

Я назвал общество тех лет пуританским; думаю, вы согласитесь со мной, что ещё верней было бы наименовать его — имея в виду не только политику, но и мораль — полицейским. Тут — или, как принято говорить, «в этой связи» — мне хотелось бы кое-что сказать о нашем «поколении». Трудная тема! Шаткое, неверное слово, которое приходится брать в кавычки. В самом деле, кто такие были эти

«мы», что такое наше или не наше поколение? Фантом, изобретение писателей. Моё поколение — это абстракция. Я привык считать себя закоренелым индивидуалистом. Я питаю глубокое недоверие ко всякому коллективизму. Ни с какой общественностью я ничего общего не имел и не испытывал желания связываться.

«Я поздно осознал свою принадлежность к поколению», — замечает Марк Харитонов (эссе «Родившийся в 37-м»), — даже как бы сопротивлялся чувству этой принадлежности». Мне кажется, я мог бы подписаться под этими словами.

Толкуют о «нашей эпохе». Боже милостивый, какая эпоха? Мы жили в эпоху, которой не было. Рискуя впасть в неуместное остро словие, можно сказать, что эпоха «эпох» в нашем государстве попросту прекратилась. Бывают такие страны, где история проваливается время от времени в яму.

Но! Хочешь не хочешь, придётся возразить самому себе. Ныряя в омут минувшего, я принужден буду признать, что в самом деле принадлежал к тому сомнительному «мы», которое за неимением нужного термина должен назвать поколением, — в данном случае к поколению московской интеллигентной молодёжи ранних послевоенных лет. (Судьба пощадила меня: я достиг призывного возраста к моменту окончания великой войны.)

Поистине это было одинокое, неприкаянное поколение, и не только потому, что всякое проявление солидарности, любая попытка сплотиться, тень единомыслия, группа или дружеский кружок, немедленно привлекали внимание вездесущей тайной полиции — тогдашнего МГБ, прослаивались донощиками и заканчивались арестами, — не только поэтому. Но и потому, что мы были поколением, которого не было, потому, что угодили в расщелину истории. Всем нам было суждено жить и изживать нашу юность в гнуснейшую пору советского времени. Вы, дорогая, разумеется, помните эти годы.

Сказать о нас, что, дети военных лет, так и не сумевшие дозреть до того, чтобы стать поколением в полном и подлинном смысле, мы не знали жизни, сказать так было бы и правдой, и неправдой. С реальностью повседневного существования в Советском Союзе, чудовищным бытом, нищетой, голодом, вечной нехваткой всего и т.д. и т.п., со всем этим мы сталкивались весьма чувствительно и достаточно рано. Перед этими сиротливыми кулисами, наперекор всему, разыгрывалась трагикомедия нашей судьбы, ютилась наша молодость, поколение одиночек, типичными чертами которого были ка-

кая-то странная, всё ещё не преодолённая невзрослость, застенчивость и стыдливость, паразитальное невежество в вопросах пола, подростковый страх перед женской телесностью и полнейшее непонимание женской сексуальности у юношей, раз и навсегда заученная поза самообороны перед мужской инициативой у девушек вкупе с их неизбежным следствием — обоюдной скованностью... Короче, богатейший материал для фрейдистских умозаключений — в стране, где психоанализ был не просто запрещён, но чуть ли не приравнён к политической крамоле.

Пожалуй, я слишком растёкся по дереву. Пора заканчивать, но позвольте мне пересказать одно маленькое воспоминание, которое я нахожу на дне омота, как ловец жемчужин — раковину на дне Индийского океана.

Был такой — и, говорят, стоит до сих пор на Пречистенке, некогда переименованной в улицу Кропоткина, Дом учёных; здесь в те годы устраивались вечера для студенческой молодёжи. Не помню, по какому случаю мы оба, Ира Вормзер и я, оказались на одном из этих вечеров. Я не ожидал её увидеть. Надо вам сказать, что я обожал танцы. И вот — какое грандиозное воспоминание! Грянул духовой оркестр, праздничная толпа всколыхнулась, и, набравшись духу, я приблизился к Ире. Кажется, она была удивлена. Она была прекрасна. Что было на ней? Пытаюсь найти нужное сравнение. В те годы в Москве появилось, в числе других американских продуктов, которыми кормился весь город, — счастливицы получали их по карточкам, — волшебное лакомство, сгущённое молоко с сахаром; если подержать закрытую банку в кипятке, молоко меняло свой цвет. Таким — золотисто-коричневым — было платье Иры, облежавшее уже довольно полную грудь и бёдра, и оно удивительно шло к ней, к её рыжеватым и светящимся, слегка вьющимся волосам, собранным в небольшой узелок на затылке. Музыка звала и будоражила нас, пары теснились вокруг, я неловко обнимал её, как полагалось, за талию, её ладонь лежала на моём плече, я видел в нескольких сантиметрах от себя её вздымающуюся грудь, губы Иры были приоткрыты, свежее дыхание обвевало меня. Казалось, и она была взволнована, и вся жизнь была впереди, жизнь была окутана дымкой недосыгаемого будущего. То были первые послевоенные годы надежд и ожиданий, приближалось новое время, и никто не подозревал о том, каким хищным будущим было беременно это время. Юность не страшится будущего, этой тигриной пасти, которая пожрёт и тебя, и вместе с тобой — твоё короткое прошлое, всё

то, что впоследствии сохранит усталая память; мы не знали, что из чащи лет за нами следят жёлтые очи плотоядного будущего, что Иру ждёт бедственное замужество, потеря ребёнка, мучительная болезнь, меня — арест, тюрьма и лагерь.

Дорогая! Вы чувствуете, что письмо, весь этот чересчур затянувшийся рассказ, требует завершения. *Happy end* — если бы можно было его так назвать...

Одним из немногих счастливых событий — может быть, самым счастливым в истории нашей многострадальной родины — была смерть вождя-каннибала, неожиданно ухнувшего в преисподнюю, чтобы разделить там по-братски с Шикльгрубером котёл с кипящей смолой. Я был выпущен на волю с запрещением возвращаться в Москву. И всё-таки, буквально на другой день не утерпел и позвонил из телефона-автомата Ирине Вормзер. Долго добирался до неё, она проживала в новом районе, на последнем этаже одной из новостроек. С колотящимся сердцем я поднялся по лестнице и позвонил в дверь.

Она отворила.

Узнали ли мы друг друга? Узнал ли я Иру? Конечно, как приятно говорить в романах, годы наложили на неё свой отпечаток. Обо мне и говорить не стоит; мне с моей наружностью и без того терять было нечего. Зато она... Что ж, по крайней мере для меня она должна была оставаться красавицей.

Должна. Странное замечание, скажете вы.

Всю мою, показавшуюся необычайно длинной дорогу на окраину донельзя разросшейся столицы, мимо незнакомых станций новой линии метро, потом в переполненном автобусе и, наконец, в поисках дома, поднимаясь по ступеням неуютных этажей, — всю дорогу я не переставал думать об одном, вспоминал, как я любил Иру и не отважился сказать об этом вслух, тщетно жаждал ответного внимания и мучался неутолённой страстью.

Мы сидели за скромным угощением, чокнулись бокалами с красным вином, но сердце моё уже не стучало. Жестокая догадка поразила меня. Похоже, я уже не любил её. Нет, зачем же: любил, конечно. Но *не так*.

Я встал. В маленькой прихожей снял с вешалки своё пальто. Она тоже поднялась, приблизилась и поцеловала меня.

И вот теперь, после её смерти, я спрашиваю себя: зачем я тогда не обнял её, зачем не спросил, не предложил ей выйти за меня замуж?..

16 ЯНВАРЯ 192*

Time present and time past
Are both perhaps present in time future,
And time future contained in time past.
If all time is eternally present
All time is unredeemable.
What might have been is an abstraction
Remaining a perpetual possibility
Only in a world of speculation.
T. S. Eliot, Four Quartets Nr 1.

Время настоящее и время прошедшее
Возможно оба содержатся
В будущем
А будущее — во времени прошедшем
Во всяком случае, если время вечно,
С этим уже ничего не поделаешь.
Т.С. Элиот, Четыре квартета, 1.

Только там по гулкам залам
Там, где пусто и темно,
С окровавленным кинжалом
Пробежало домино.
Андрей Белый, Маскарад

Принимаясь за этот рассказ, я думаю о том, что окажусь в неза-
видном положении историка, который описывает прошлое, зная о
будущем, то есть о том, чем закончится это прошлое, — зная, к чему
оно приведёт. Другими словами, ему дано обозреть весь пучок рас-
ходящихся дорог, ведущих в будущее. Призрак будущего, этой та-
инственной скрытой реальности, — ожидающего, коварного, под-
стерегающего будущего, — сумею ли я его расколдовать?

Здесь стоит дата. Ориентировочная, без необходимости уточ-
нять год. Этот день, ничем не замечательный, конечно же, ничего
не скажет читателю, для которого он давно потонул в пучине про-
шлого; я же, по долгу рассказчика, вынужден его выделить. Пусть
оправданием для меня послужит то малозначительное обстоятель-

ство, что шестнадцатое января — мой день рождения. Господи, сколько же мне тогда исполнилось? Лучше не вспоминать. Впрочем, я всё отлично помню.

...Видите ли, одно дело помнить, другое — вспомнить. Продолжая мысль поэта, мы можем сказать, что память минувшего беременна будущим. Мы о нём ещё ничего не знаем, до поры до времени оно остаётся нерождённым, прежде чем, родившись, умереть в настоящем. Но довольно говорить загадками, вернёмся к этому — увы, тоже эфемерному — настоящему. Первый послевоенный день рождения, мне 17 лет. Многому суждено будет перемениться с тех пор, как время, повивальная бабка памяти, пособит разрешиться от бремени набухшего, зреющего будущего.

Да, изменится чуть ли не всё. Исчезнет переулок, где находился наш дом; чего доброго, не останется ничего и от дома с его двором и подворотней, двумя входами, парадным и чёрным, с лестницами этажей, списками жильцов на дверях коммунальных квартир, кому сколько звонков. Не будет и двора, где прошло моё скудное, счастливое детство. Жильцы? Никто, ни единой души, не уцелеет. Наконец, гости именинного застолья, свидетели моего внезапного исчезновения — где их настигло, куда увлекло за собой хищное будущее?..

Была такая тётя Лиза, Елизавета Мироновна, двоюродная сестра моего отца, пианистка и преподавательница музыки, живая, черноглазая женщина. Вижу её, как сейчас, сидящей за нашим инструментом немецкой фирмы с медными подсвечниками, двуглавыми орлами поставщиков императорского двора, на пюпитре развёрнутые ноты. Смеясь, играя бровями, тётя Лиза оборачивается к гостям, нажимает на педаль носком узкой лакированной туфли с перемычкой на пуговке. Вальс из «Фауста». Рядом с тётей Лизой стоит наша дальняя родственница, рыженькая и веснушчатая Рива Меклер в модном цветном крепдешинном платье с глубоким вырезом, открывающем ущелье груди, с квадратными накладными плечами, в огромных, как корабли, белых туфлях на высоких каблуках. Рива Меклер поёт тонким голоском «В небеса самолёт поднимая, с облаками беседуя я», поёт «Спи, любимый сын, тикают часы, мячик закатился под кровать...» — шлягеры той поры. Ей 27 лет, она опаздывает, но всё ещё не теряет надежды выйти замуж. Рива приехала из Молдавии, живёт у нас без прописки, на птичьих правах. Во время оккупации её мама, папа и обе бабушки погибли,

всего шесть человек остались в живых из одиннадцати тысяч обитателей кишинёвского гетто. Журчит пианино, руки тётки Лизы обегают клавиатуру, берут аккорды, гости поднимают бокалы за именным столом. И вот тут это началось.

Началось... Я говорю о том самом происшествии — о прибытии. В коридоре раздался, лучше сказать, грянул звонок. Три звонка. Значит, к нам: кто-то опаздывающий. Музыка смолкла, тётка Лиза перестала улыбаться и перевернула ноты.

Рива Меклер побледнела, хотя вряд ли можно было увидеть это под слоем пудры. Как уже сказано, у Ривы не было пропуски.

««Милиция, — прошептала она в ужасе. — Это за мной». И снова три нетерпеливых звонка.

Никто почему-то не решился встать и выйти в коридор. Молча сидели и ждали. Один только виновник торжества поднялся из-за стола, но вдруг дверь нашей комнаты растворилась. На пороге стояла высокая фигура в невиданном чёрном одеянии и в чёрной карнавальной маске. Обомлев, мы уставились на неё. Я по-прежнему стоял за праздничным столом. Тонкая женская рука поднялась из-под плаща, выглянула красная подкладка. Рука поманила меня.

«Стой, не ходи!» — раздались голоса. Почудилось ли гостям в этом явлении что-то неладное?

Потом кто-то, рассудительно: «Может, вызвать милицию?»

Ему возразили: «Зачем? Пусть садится с нами. Милости просим!»

Всё зашевелилось, засуетилось, пододвинули стул. Гостя нетерпеливо топнула ногой. Под гипнозом её взгляда в узких прорезях маски я поплёлся сам не свой, сопровождаемый общим молчанием. Что мне оставалось делать?.. Чувство необходимости, похожее на долг повествователя следовать навязанному сюжету, вынудило меня повиноваться.

Не могу сказать, сколько времени прошло, прежде чем мы оказались вдвоём в тишине и полутьме коммунального коридора, под болезненной лампочкой в потолке. Она — кто такая? — была выше меня ростом. Я хотел было вернуться назад, попробовал приоткрыть дверь — там продолжался праздник, слышались голоса, донеслось пианино, пение... Маска покачала головой.

«Оставь, — глухо сказала она, — их давно уже нет».

«Но они там!» — сказал я.

Дверь захлопнулась.

Я спросил:

«Откуда ты знаешь?»

«Я их будущее», — был ответ.

«И моё тоже?» — не удержавшись, снова задал я глупый вопрос.

Она усмехнулась.

«Может быть, и твоё».

Я всё ещё ничего не понимал. Маска вела меня за руку, холодные пальцы сжали мою кисть. Мы вышли на лестничную площадку и начали подниматься. По этим перилам, сто лет назад, я съезжал в детстве. Этаж, ещё этаж; я покорно следовал за незнакомкой. Меня не оставляла мысль о гостях. Она объяснила, глухо звучал её голос. Обе, тётя Лиза и Рива, давно умерли. Тётя Лиза, дожившая до глубокой старости, впала в маразм и больше не прикасалась к клавишам. Рива Меклер так и не вышла замуж, заболела, словно судьбе было недостаточно всего, что она пережила. Была оперирована, ей ампутировали грудь.

Спросить, что будет со мною, я не решался. Нас провожала непробудная тишина, дом спал или вымер. Вот и площадка последнего, верхнего этажа; в неверном свете дня, просочившемся из слухового окна, остановились передохнуть. С обеих сторон двери коммунальных квартир, на каждой табличка с фамилиями съёмщиков, дореволюционный звонок-вертушка с надписью «Прошу повернуть». Спросите меня, в каком времени мы находились, я не сумел бы ответить. Воззрися на вожатую — по-прежнему чёрная маскарадная маска скрывала её лицо.

«Ты...» — начал я. Жестом она заставила меня молчать. Протянула узкую руку к рычажку, и за дверью послышалось дребезжанье звонка. Квартира была мертва. Подождали ещё минуту-другую. Наконец, звякнула дверная цепочка, некто, едва показавшись, отворил.

Я знал, что наш дом в Большом Козловском переулке, построенный в начале века, был доходным, квартиры сдавались, выркаясь по-гоголевски, господам средней руки. Мы вступили в прихожую, лакей, впустивший нас, удалился. Длинный, тускло освещённый коридор вёл в недра квартиры, где некогда обитал с чадами и домочадцами какой-нибудь адвокат или коллежский асессор; мы остановились у одной из дверей — как выяснилось, перед спальней хозяйки.

«Мне кажется, — промолвила, нарушая молчание, моя спутница, — ты кое-что забыл».

Я покосился на неё.

«Сегодня шестнадцатое января».

«Ах да... — пробормотал я. — Ну и что?»

Рывком она сбросила маску. Я понял, что давно жду этой минуты. Увидел её бледное лицо, бескровные губы, глаза, обведённые тёмными кругами, и крылатые брови. Увидел, — можно ли было ожидать иного? — красавицу.

«Так вот, — продолжала она. — Я хочу сделать тебе именной подарок». И указала на широкую деревянную кровать с резной спинкой, под балдахином. Лампа матового стекла в виде цветка висела над изголовьем. Ночник под миниатюрным зелёным абажуром горел на туалетном столике, отражаясь в настенном овальном зеркале, и вся обстановка, двуспальное ложе, шкаф, столик, низкий удлинённый табурет, портрет на стене и прочее тонули в зеленоватом сумраке.

Слабый аромат духов напомнил мне о присутствии женщины.

Меня окликнул голос моей любовницы.

Я поймал себя на этом слове — так хватают за руку преступника, дабы он не успел совершить злодеяние. Сотворить то, что он задумал. Выходит, мысленно, едва только моих ноздрей коснулся дурман её тела, я уже был с ней, в ней? Она топнула ногой.

«Что же ты? Я жду!»

Я не мог двинуться с места.

«В конце концов, — усмехнувшись, проговорила она, — это невежливо, я хотела тебя поздравить... Дама выказывает тебе благосклонность, можно сказать, предлагает свою любовь...»

«Ты, — пролепетал я, — ты — Смерть?»

«О! Зачем же такие слова? Малыш, — проворковала она, — я понимаю. Ты никогда не видел никого из нас. Такой, какая она есть, каковы все мы... и тебя одолевают два чувства: любопытство и страх. Не правда ли?»

Она щёлкнула длинными худыми пальцами, неслышно вошёл слуга, зажёл свет над изголовьем и приготовил постель.

«Ты можешь удовлетворить свою любознательность. Взгляни, не бойся...»

Плащ, развернувшись, упал к её ногам. Я отвёл глаза.

«Смотри, смотри на меня. Как ты меня находишь?»

Минуту спустя она уже лежала, и её распростёртая нагота призывала меня, и всё закончилось в считанные мгновения, и времена сменяли друг друга, настоящее стало будущим, и будущее превратилось в прошлое, но я был прав, ибо сон, объявший нас, был подобен смерти. Сон одарил видением, которое и вдохновило меня написать этот рассказ.

2013

ПРИБЫТИЕ

Ты станешь мною и моим сном.

Хорхе Луис Борхес

Я надеюсь, что мне простят манию бесконечно пережёвывать прошлое, болезнь закатных лет, чьё неоспоримое, хоть и незавидное, преимущество — способность жить одновременно в разных временах.

Я привык поздно ложиться, это объясняется страхом бессонницы, стараюсь дотянуть до такой степени усталости, когда, улёгшись, тотчас засыпаешь. К несчастью, это удаётся не всегда, начинаешь ворочаться с боку на бок, зажигаешь свет, снова гасишь, угнетают бесплодные мысли, унылые песни продолговатого мозга, давно истоптанные дорожки моей литературы. Глаза мои закрываются, и в последующие полтора часа я вижу сны. Но это лишь предисловие, а сейчас я хочу сказать о другом.

Недавно я прочёл такое признание в одном интервью Лукино Висконти: «Я обращаюсь к прошлому, оттого что настоящее скучно и предсказуемо, а будущее пугает своей неизвестностью. Зато прошлое предрекает настоящее и, глядя в прошлое, мы, как в зеркале, можем увидеть черты сегодняшнего дня».

И наши собственные черты, добавил бы я. Конечно, «ретро» в фильмах славного режиссера мало похоже на прошлое, к которому льнёт моя память. И всё же я подумал, что слова эти могли бы предварить мой рассказ. А на следующий день, не успев я приступить к работе, произошло знаменательное совпадение. Девушка-почтальон принесла конверт с маркой недавно учреждённой республики. Под грифом архивного управления и датой трёхмесячной давности сообщалось, в ответ на мой запрос, что сведений о гражданке Приваловой Анне Ивановне, 1924 года рождения, в актах гражданского состояния не обнаружено. Никакой гражданки Приваловой, стало быть уже не существовало.

Спрашивается, что же заставило меня разыскивать Ньюру, ворошить былое, которого не было? Известие, как уже сказано, добралось до меня три. месяца; я успел забыть о своём запросе. Но почему-то ответ меня не убедил, я читал и перечитывал его; прошлое вцепилось в меня. Я почувствовал, что оно меня не отпустит. Только этим могу объяснить моё решение.

На всякий случай я предупредил соседей и немногих друзей, что уезжаю далеко и надолго. Впрочем, не так уж далеко. Старинное здание Казанского вокзала, которому архитектор придал профиль столицы некогда существовавшего ханства, возродило в моём воображении мне те первые, жаркие недели июля сорок первого года, когда пропаганда уже не могла скрывать тот очевидный факт, что вражеская армия приблизилась к Москве. Толпа женщин с детскими колясками, узлами, чемоданами запрудила перрон, перед которым стояли открытые пульмановские вагоны с наскоро сколоченными полатами из необструганных досок. Матери звали охрипшими голосами потерявших детей, репродуктор что-то вещал, невозможно было разобрать ни слова. Раздался пронзительный свисток, впереди невидимый паровоз тяжело вздыхал, разводя пары. Гром столкнувшихся буферов прокатился вдоль состава и всколыхнул толпу; началась посадка. Мой отец, несколько дней назад записавшийся в народное ополчение, каким-то образом добрался до вокзала, чтобы успеть попрощаться с нами. Он стоял перед раздвижной дверью вагона и махал рукой мне, моей названной матери и маленькому брату. Вагон дёрнулся, колёса взвизгнули под ногами, отец отъехал с толпой провожающих, с тех пор я его никогда больше не видел.

Путешествие длилось несколько недель. То и дело эшелон с эвакуированными останавливался, пережидая встречные поезда с цистернами, армейскими грузовиками, зачехлёнными орудиями и сидящими на плаформах наголо остриженными новобранцами, которым не суждено было вернуться. Наконец, стиснутые, как в клетке, измученные тряской, духотой, неизвестностью, толкнувшись взад-вперёд несколько раз, мы остановились посреди большой, забитой товарными и пассажирскими вагонами станции; оказалось, что прибыли в Казань.

Итак, мне пришлось проделать заново весь путь — ведь пригрезиться может только то, что дремлет в подвалах памяти. Всё происходящее казалось теперь естественным; повелевал неведомый

рок; лица и эпизоды сменялись в несжимаемом, как вода, времени. Предстоял решающий шаг. Всё ещё колеблясь, не обращая внимания на окружающих, — объяснять что-либо мачехе и братику было бесполезно, — попросту забыв о них, — я выпрыгнул из вагона. За спиной у меня был рюкзак с каким-то скарбом, я очутился на песке между путями и уже не помнил последний день, толчею и суматоху московском вокзале, паническую посадку. Лишь при мысли об отце глаза мои наполнялись слезами — стоило только вспомнить, как он стоял в толпе и махал рукой. Я знал (знание будущего — привилегия всё того же закатного возраста), что он не вернулся и никогда не вернётся из заснеженных лесов между Вязьмой и Смоленском, где окружённое врагом, брошенное на произвол судьбы штабным начальством, заблудилось и сгинуло всё их состоявшееся из штатских, злополучное войско.

Мне повезло, я отыскал в незнакомом городе, блуждая наугад, я отыскал речной порт. Последний раз я ел в вагоне, но голода не чувствовал, рассчитывал где-нибудь подкрепиться в пути. Теперь я уже знал, что ехать осталось недолго

Солнце склонялось к далёкому холмистому берегу, оставляя на воде сверкающий след. Двухпалубный колёсный теплоход «Алексей Стаханов», наименованный так в честь забытого героя труда, шёл вверх по широкой Каме. Сидя в соломенном кресле на палубе, я дремал под шум гребного вала и очнулся оттого, что шум и плеск прекратились. Мне вспомнилось, что следующая остановка называлась Набережные Челны, это была моя ошибка. Судно покачивалось у дебаркадера пристани Красный Бор. Я обрадовался, я был уверен, что вижу сон во сне, и оказался, в сущности, недалёк от действительности: вопреки всякой логике то была цель моего путешествия. Надо было торопиться. Вместе с другими пассажирами, подтянув лямки рюкзака, я сошёл по трапу и двинулся по главной улице, миновал нашу школу, преодолев искушение заглянуть в районную библиотеку, где был когда-то единственным и регулярным посетителем, — и оставил село.

Между тем быстро темнело; я пожалел об оставшемся в Москве пальто; это была та самая дорога, по которой в тёмные осенние вечера, рискуя потерять галоши в грязи, зимой проваливаясь в сугробы, я плёлся из школы к больничному посёлку. И снова обрадовался, завидев знакомый забор и ворота, — они были открыты. Тотчас, едва только я вспомнил школу и зимние возвращения, пошёл снег.

В сумерках я подошёл к к одному из двух бараков для персонала; сходство с нашим бывшим жильём было так очевидно, что мне почудилось — кто-то поджидает меня на соседнем крыльце, в пальто и платке на голове. Разумеется, никто меня не ждал. Мачеха моя работала медсестрой, ей было пора на дежурство, а она всё ещё оставалась в эшелоне эвакуированных. Подождав немного, я снова увидел женскую фигуру на крыльце. Память потешалась надо мной. «Вам кого?» — спросили оттуда, когда, пройдя через дощатые сени, стяхнув с себя и оттоптав с городских ботинок снег, я толкнул входную дверь.

Я еле удержался, чтобы не рассмеяться. Уж очень всё произошло как по-писанному. Правда, там не оказалось той, которую я искал. Невысокая женщина в юбке и вязаных носках на босу ногу, со спущенными с голых плеч бретельками ночной рубашки, поспешно выпрямилась перед табуретом, на котором стоял таз с водой, схватила лежащее рядом мохнатое полотенце, и стала вытирать энергичными движениями, обнажив тёмные подмышки, мокрую черноволосую голову «А-а! — воскликнула она, поворачиваясь с полотенцем навстречу гостю, — это ты?.. Закрывай дверь, дует».

Я не нашёлся что сказать, даже не поздоровался, да и что мог ей ответить? Что-то восточное показалось мне в тюрбане из полотенца, которым увенчала себя Маруся Гизатуллина... Ей было холодно, она искала что-нибудь накинуть на оголённые плечи. Не скрою, я был разочарован: как уже сказано, я ожидал встретить другую. Я оглядел помещение. Печь с плитой и похожей на пещеру топкой, по обе стороны две двери вели в комнаты, в одной из них проживала с дочерью аккуратная старушка татарка, мать Маруси. Зато другая дверь, в углу за печкой, — тут сомнений не оставалось, была наша. Я говорю, не было сомнений, потому что знал, вполне отдавал себе отчёт: случись, что воспоминание меня подвело, вся поездка моя окажется напрасной. Итак, эта дверь, была нашей, вела в комнату, куда нас поселили, когда, это было вскоре после приезда, моя мачеха устроилась сестрой и лаборантом в больнице. Впрочем, и Маруся Гизатуллина, и Нюра — обе были медсёстры. Дверь была приотворена, из узкой щели сквозил слабый свет.

Тем временем таз был унесён, мыльная вода выплеснута в ведро, табурет вернулся в комнатку Маруси. Наследница легендарной царицы Сююмбеки появилась, сменив рубашку и юбку на белый медицинский халат, не завязанный, так что на мгновение в распах

мелькнули маленькие смуглые груди и чёрная дельта внизу живота. «Небось подглядывал!» — сказала она, взглянув на полуоткрытую дверь бывшего нашего обиталища, и на этом её роль была закончена, больше она меня не интересовала. Любопытно, что как раз в эту минуту мне вспомнилось: тогда, в тот вечер, когда пришла Нюра, Маруси не было дома, она спала, а может быть, уже успела к этому времени переселиться с матерью в другой барак. (Кстати, я упоминал и о ней в одной своей повести).

Спохватившись, я подбежал, к нашей двери, рванул — и чуть не нос к носу столкнулся с жильцом.

Жилец этот был подросток лет пятнадцати на вид, худой и измождённый, какими все мы были в годы войны. Мамаша приносила с дежурства в виде лакомства селёдочную голову, в деревнях ели хлеб из коры и крапивы.

«Вы ко мне?» — спросил мальчик, и мы вошли в комнату.

«Вы, — сказал я с упрёком. — Ты говоришь мне: вы?...» В комнате помещались две кровати, стол; на одном ложе спал малыш, другое предназначалось для старшего сына. Я подошёл к столу. Тут стояла коптилка, лежали книги и чернильные принадлежности. Коптилкой называлась тогда лампа со снятым стеклом для экономии керосина. Стол стоял у окна, в окне отражался чахлый огонёк, отразились наши лица, похожие на лица заговорщиков. Снаружи было уже совсем темно.

«Вот и отлично, — продолжал я, заглянув в дневник, — сейчас узнаем, какой сегодня день... Я оторвал тебя от занятий, ты один?».

Мальчик смотрел на меня с угрюмым недоумением. «Откуда вы знаете?» — спросил он. Опять это «вы». Нужно было объяснить, чего я опасался. Мне показалось, что он боится меня. Я пробормотал, что приехал повидаться. «С кем?». У меня забилось сердце. Я ответил: «Повидаться с тобой. Будем лучше на ты. Мы с тобой не чужие. Ты не узнал меня...»

«Мой папа на фронте», — сказал он.

Я присел на кровать. Видение отца явилось мне вновь: он стоял перед вагоном и махал нам рукой. Мальчик сидел на своём обычном месте на табуретке у стола, мы оба молчали, — не мог же я объявить ему, что его папа никогда не вернётся

«Мне не хочется тебя огорчать, — заговорил я. — Только не пугайся Дело в том, что я — как тебе сказать? Я не твой отец. Я — это ты сам».

«Этого не может быть, — возразил он. — А кто вы, собственно, такой?»

«Когда-нибудь, — сказал я, — если ты прочтёшь мой рассказ, тебе всё станет понятно. Только это будет очень нескоро. Я писатель».

Мальчик сказал:

«Я тоже решил быть писателем».

«Ты им будешь». — Я продолжал:

«Тебя интересовала цель моего прибытия. Признаюсь, я ехал не только к тебе. Надеялся встретить ещё кое-кого».

«Ньюру?»

«Вот видишь, ты сразу догадался. Между прочим, позавчера я получил ответ из архивного управления».

«Какой ответ?»

«Не имеет значения. Значит, она к тебе больше не приходит?»

Он сокрушённо покачал головой.

«Не грусти, — сказал я. — Всё уладится. Я ещё не всё дописал до конца».

«Выходит, всё зависит от тебя».

«Конечно, — сказал я, смеясь, — ведь я писатель».

Я был доволен — мы наконец нашли общий язык.

«Подытожим события, — сказал я. — Ты написал ей письмо. Ведь это правда? Ты объяснился ей в любви».

Он кивнул.

«И вот однажды поздним вечером, когда все кругом спали, она постучалась к тебе. Верно?»

Он снова кивнул

«Отсюда я делаю вывод, что из тебя получится настоящий писатель... Письмо было написано так, что оно взволновало двадцатилетнюю девушку, которая ещё никогда ни от кого таких посланий не получала, не слышала таких слов. Ты, мой милый, — я усмехнулся, — соблазнитель!».

Я говорил, но видел, что он меня не слушает.

«Она была в ночной рубашке с грубыми кружевами — видимо, только что встала с постели, — лежала без сна и, наконец, решила выйти. Пальто на ватной подкладке накинула на плечи, ноги сунула в валенки, на голове шерстяной платок. Постучалась и вошла, и на прядях выбившихся светлых волос блестел иней. Верно?»

Подросток кивнул.

«Увидела на столе коптилку, книжки и спросила: нет ли чего-нибудь почитать? Нужен был повод!»

Ты знал, что она, как все, ничего или почти ничего не читала. Ужасно стеснялась. Подсела к столу...».

«Дальше ты сам знаешь, — сказал я. — Неожиданная гостья взглянула на раскрытую тетрадку, узнала твой почерк, — ведь она всё время думала о письме! — спросила: что вы пишете?.. Ты ответил: дневник; там есть и о вас».

«Потому что, — добавил я, — и твоё письмо, и разговор — всё у вас было на вы. Но о твоём письме — ни слова».

«А мне посмотреть можно? — спросила она, и тут это случилось».

«Случилось?» — пробормотал он.

«Да. Самое важное в твоей жизни — вернее, в моей. Когда-нибудь ты вспомнишь зимний вечер, и этот тусклый огонёк, символ твоего одиночества, и стук в дверь, и... и поймёшь: чудесное явление девушки-богини с искрами инея на ресницах, на выбившихся из-под платка волосах, её маленькие валенки, и эта почти нарочитая скованность, и молчание, и присутствие её тела здесь, рядом с тобой, — вспомнишь и поймёшь, а может быть, уже постиг, что всё это в самом деле было нечто самое важное в жизни, что это сама жизнь и залог неугасимой вечности...»

«А дальше?» — спросил подросток.

«Ты подвинул к ней свою тетрадку, она, не вставая, склонившись над столом и, сама того не замечая, оперлась локтями. Пальто сползло с покатых плеч, и в открывшемся вырезе рубашки поднялись её большие груди».

«Получилось ли так ненароком? — спросил я сам себя. — Но и тебе ведь казалось, что случилось как бы само собой. Заметив твой взгляд, она мгновенно поправила пальто на плечах, — но знала, чутьём понимала, что мнимая произвольность содеянного освобождает вас обоих, облегчит всё, что произойдёт».

«Произойдёт что?» По-твоему, она показала грудь нарочно?»

«Это был сигнал. Пол — это судьба, ты поймёшь это, когда станешь мною. К счастью, это будет нескоро».

«Когда? Ты говорил не об этом».

«Время бежит. Мы говорили о тебе теперешнем...»

Теперь, тогда — кто в этом мог разобраться? Юный собеседник вернулся к столу подкрутить фитилёк светильника. Лепесток огня стал ярче, наши тени пошатывались на стене. Мой братик на второй кровати спал, детское личико было слегка освещено.

Нюра встала — я должен был досказать свой рассказ. Огонёк на столе заволновался, когда пальто съехало на пол и я вскочил поднять и подать ей пальто; она отстранила меня. Как была, в рубашке, она села на мою кровать, её полные колени обнажились, — красоту и белизну их я не в силах описать. Онемев, я стоял рядом; слабым кивком она велела мне сбросить то, что было на мне.

«Что-то материнское, — продолжал я, — почти сострадание мелькнуло или почудилось тебе в её улыбке и взгляде, устремлённом на твои тощие ноги, — ей-Богу, было чему сострадать! Она опустила на ложе и потянула к себе подростка; открыла грудь, словно хотела дать ребёнку, — было ли это ещё не рождённое, но уже стучащееся в жизнь дитя, о котором Шопенгауэр говорит, что оно зачинается в ту минуту, когда будущие родители впервые видят друг друга? Бледные губы поцеловали тебя, что-то шептали. Это были безумные слова. Почти насильно она заставила тебя повернуться к себе. Её ладонь погладила тебя по голове.

«Почувствовалось, — продолжал я, — что-то крадущееся, щекотное, холодные пальцы нашли то, что искали. Мучительное счастье исторглось из меня, и всё было кончено. Я заплакал».

«Оба сидели рядом, спустив голые ноги. Светлячок догорал — вот-вот потухнет. Она приговаривала: «Не плачь, мужичок».

«Это я виновата, — сказала она, — у меня ведь тоже никого не было, ты мой первый... Мужиков-то вокруг нетути, никого не осталось... Скоро стану совсем старая, оглянуться не успеешь. Не горюй. Не зря говорится — первый блин комом! Женщин много, у тебя ещё будут...»

Она снова обняла тебя — то есть меня.

«Хочешь, — проворковала она, — попробуем ещё разок?»

Как бывает часто в дальних поездках, обратный путь оказался мне много короче. Зима прошла, давно возобновилось судоходство на Каме. Теплоход «Степан Разин», бывший «Алексей Стаханов», покачивался, готовясь пришвартоваться к дебаркадеру. Я подбежал к пристани. И та, ставшая уже давнишней дорога в больницу в снежных сумерках, и чья-то женская фигура на крыльце, и Маруся Гизатуллина с оголёнными плечами перед тазом с горячей водой, и ты, Нюра, и наши пляшущие тени в комнатке, где спал мой братик, и керосин должен был вот-вот иссякнуть в коптилке, — всё встало перед глазами. Всё казалось мне теперь миражом, загадочной песней мозга, наподобие тех

причудливо-абсурдных сновидений, которые посещают меня, когда, улёгшись на ночь, я закрываю усталые глаза, — о них, мне кажется, я уже говорил.

В Казани пришлось потратить довольно много времени на поиски учреждения с нужной мне вывеской; когда же, наконец, я до него добрался, оказалось, что вход в Центральное архивное управление — только по пропускам.

В проходной я показал бумагу, присланную мне давеча, человек за стеклом долго её изучал, поглядывал на мой паспорт — и назвал этаж и номер кабинета. Ещё сколько-то времени протекло, прежде чем чиновница, молодая черноглазая татарка, похожая на Марусю (я вспомнил, что настоящее марусино имя было Марьям), соединилась с начальством, разговор по телефону шёл на языке, которого я не знаю. Наконец, открылась дверь, принесли папку, на которую я взглянул с радостью и надеждой.

Женщина развернула папку, отогнула картонные клапаны.

«Привалова Анна Ивановна, русская, год рождения 1924-й. Всё правильно, — сказала она. — Вам ведь сообщили».

«Да, но, видите ли...»

«Вижу. Гражданка Привалова умерла. Причина смерти — послеродовой сепсис».

СВЕТЛОЯР

Предисловие автора

Не надо быть специалистом, чтобы понять, что допущение, лежащее в основе этого небольшого сочинения, явно противоречит медицинской науке и врачебной практике. Нам предлагают поверить в то, что мозг человека в коме может сохранять «сознание сознания», другими словами, больной (в данном случае протагонист) якобы всё ещё сознаёт, что он не потерял сознание себя, своего «я». Как известно, коматозное состояние характеризуется утратой контакта с окружающим миром, угасанием рефлексов, потерей самосознания и чувствительности к раздражениям. Без неотложной помощи пациент умирает.

Следствием или, если угодно, оправданием этого допущения оказывается некоторое литературное новшество, — пожалуй, особый жанр.

Речь идёт о театре предсмертных сновидений.

Умиравший мозг демонстрирует полусуществующему повествователю сцены его собственной жизни, пунктиром намечена история детской любви, спустя много лет завершившейся в таёжных керженских лесах — в советском концентрационном лагере.

Ключ к пониманию повести, её ведущий образ — невидимый град Китеж, по преданию опустившийся в воды озера Светлояр, недалеко от которого был расположен подразумеваемый в повести Унженский исправительно-трудовой лагерь, где автор отбывал в юности срок заключения. Некогда в этих краях скрывались раскольники: то была глухая, непроходимая Русь, северо-восток европейской части страны. Сеть лагунктов, в которых по некоторым сведениям обитало 70 тысяч рабов, раскинулась на территории, сопоставимой с небольшим европейским государством. Основной профиль — лесоповал. Лагерь взрызался в глубь страны, оставляя за собой обширные выжженные пустоши. Географически не так далеко от наших мест находилось легендарное озеро Светлояр. На его берегах стоял Китеж. Блуждая в поисках поживы, татары добрались до озера, но ни-

какого города не нашли: чудесным образом Китеж опустился в Светлояр. В тихую погоду можно услышать доносящийся со дна колокольный звон, различить в воде золотые маковки церквей... Волшебное озеро становится символом спасения из бесчеловечного мира.

Великая и неистребимая мечта уйти с концами, мечта беглых каторжников и сбежавших от помещика крепостных, мечта старообрядцев и лагерных рабов, бежать — куда? Из страны вглубь страны, из гнусного времени в другое время. Из неволи — на волю!

Уйти с любимой женщиной в смерть, на дно легендарного озера, мечтает герой повести Б.Хазанова «Светлояр».

Наконец-то! В пахучей мгле пронеслись огни, простучали колеса на стыках, проследовал десятичасовой скорый. Пора. Не слышно голосов в коридоре. Синий свет ночника вздрагивает в такт биению сердца. Пора! Быстро, уверенно, сам удивляясь своему проворству, я отлепил датчики, отсоединил трубки, сбросил покровы и путы, сел на своё ложе, мои голые ступни не доставали до пола. Я проскользнул по коридору мимо столика, на котором горит лампа под чёрным колпаком, что-то несло меня, я не шёл, я летел — тёмный, тёплый ветер пахнул в лицо. Ни малейшего представления, куда я направляюсь, — знаю только, что надо спешить, у меня мало времени. Выбрался из колючих кустов на берег.

Неширокая, тусклая, как поверхность металла, река, дымящееся поле с едва различимой кромкой леса на горизонте. Луна поднялась уже высоко. Луна превратила в пространство сна обыкновенный русский пейзаж. Скользя и хватаясь за что-то, я съехал с глинистого обрыва на влажный холодный песок, и хотя здесь, внизу было свежо, подумал, не войти ли мне тоже в воду, — я говорю «тоже», потому что в реке, в каких-нибудь десяти метрах от меня, стояла по пояс в воде русалка.

Тут я вспомнил: они меня хватятся! Прибегут за мной... Глушь, я недосыгаем. Да, почти со злорадством я подумал о том, что они до меня уже не доберутся, это мой последний, наконец-то удавшийся побег. Да и кто хватится, кто заметит? Они думают, что я — это тот, кто лежит на высоком ложе, в застеклённом боксе, точно музейный экспонат; меня зовут — я не слышу, колют иглой — я не шевельнусь, сердце сокращается, зрачки слабо реагируют на свет, я не замечаю никого и ничего. Пусть делают с моим телом что хотят,

они не могут понять, что мне попросту не до них, не до всех этих пустяков, у меня остаётся слишком мало времени. Я переминаюсь в нерешительности на холодном песке, сейчас брошусь в воду, смотрите-ка, она зовёт, манит пальчиками еле заметно, та, что по пояс в воде. Но я боюсь воды, никогда не умел плавать; страх сидит во мне с тех пор, как я провалился под лёд, как если бы вода не простила мне, что я спасся.

Я всё это помню. Я покинул самого себя, я над моим померкшим сознанием; я — всё ещё тот, кто лежит за стеклом, но он — не я, меня нет, и никогда им этого не понять. Прошла весна. Прошли лето и осень после смерти моей матери, настала зима, и было необыкновенно весело. Играла музыка: радио в репродукторах или, может быть духовой оркестр. Вдоль всей аллеи вокруг пруда яркотусклые фонари. Народ съезжает на санках на нерасчищенный лёд, копошится в снегу, стоят няни-домработницы, дяденька бранит дочку за то, что она запачкала варежки. А я бегу к середине пруда, там в снегу торчит палка, надо мной высокое тёмное небо, я хватаю палку и, как во сне, молча, медленно погружаюсь, в ботиках и рейтузах, в пальто с поднятым воротником, вокруг которого обмотан шарф, в шапке с завязанными ушами, всё ниже ухожу по грудь, по шею, вокруг ледяные обломки, тёмная пахучая вода, мои руки торчат над водой, и так же молча дяденька, подкравшись по кромке льда, одним рывком вытаскивает меня из воды.

После этого он опять стоял рядом с дочкой и, должно быть, доругивал её за испачканные варежки; музыка провожала нас, мы брели домой с Чистопрудного бульвара, оба с громким плачем, по переулку, мимо домов, мимо поликлиники, я и домработница, и мне было стыдно, что я обмотан её платком, как девчонка, вода хлюпает в ботиках, капает с рукавов и превращается в сосульки. Я сижу в корыте с горячей водой, и тотчас наступает утро.

Бегом, босиком, по сырой траве, жмурясь от яркого и горячего солнца, я несусь к качелям, они уже там, сказать или не сказать? Подбегаю и говорю:

«А я тебя видел».

Не следовало сразу открывать тайну, а надо было помучать её намёками, но надо спешить, у меня мало времени, мы приехали неделю тому назад, солнце блестело между верхушками деревьев, и луг сверкал, усыпанный синими брильянтами, мой двоюродный

брат по имени Натка покачивался на доске, хозяйская дочка, в пёстром платье без рукавов, светлоглазая, загорелая, что давало ей непонятное преимущество перед нами, стояла, приставив к глазам ладонь козырьком, делала вид, что смотрит не на меня.

«А я видел».

Она опустила руку и стрельнула глазами в меня, словно интересуясь, кого это я видел.

Реку, чёрную, как олово, хотел я сказать, и дымную даль, и тебя в реке, ты покачнулась, выходя из воды, лунный бисер одел твою наготу, я всё видел, круги незрячих глаз, ямку между ключицами, бугорки сосков, твой впалый живот и бёдра, едва успевшие округлиться. Врёшь, сказала она, кто это купается ночью. Ты, сказал я, мне хотелось её подразнить, теперь я знаю, какая ты.

Какая, спросила она надменно.

Мы стояли на доске, Натка, тощий, как щепка, в трусах и сандалиях, на одном конце, я на другом, Соня сидела посередине, верхом, мы по очереди приседали и отталкивались, скрипели цепи, медленно, неохотно, всё шире и всё стремительней раскачивались качели, летели светлые волосы Сони, летели её загорелые ноги, вспархивало её пёстрое платье, и ещё, и ещё, и всякий раз я видел перед собой застывшее в ужасе и восторге лицо моего двоюродного брата, приседал и отталкивался, и уносился ввысь, вперёд, вися на цепях, к летящим навстречу небесам. Мы остановились. Руки дрожали, всё ещё вцепившись в цепи. Она слезла с доски. Я спрыгнул следом.

«Ты куда?» — лениво, сонным голосом спросил Нáта.

Меня несло куда-то через луг.

«Эй, ты!»

Голос донёсся, как эхо, издалека. Они не знали, что времени в обрез, что годы не имеют значения и одно тянет за собой другое. Обернувшись, я в последний раз увидел хозяйскую дочь, она всё так же стояла, приставив к глазам ладонь, выбрался из кустарника, прокрался по коридору. Только что отгремел вдали ночной десятичасовой поезд.

То, что проплывало на дне моих глаз, подлинное отражение действительности, никак не согласовалось с окружающими людьми и предметами, они мешали мне своей мнимостью. Я чувствовал, как надо мной склонилась фигура в белом. Дежурный врач при-

поднял мне верхнее веко, в чём не было никакой надобности, мои глаза были открыты. Тело, с которым они что-то делали, не было моим телом. Настала глубокая тишина во мне и вокруг меня; неслышно двигались фигуры; я всё ещё был жив. Они меня сейчас убьют, с ужасом подумал я, — но нет, они хотят продлить мне жизнь, а что это, собственно, значит? Сейчас, когда я начинаю что-то понимать. Мне хотелось крикнуть: оставьте меня в покое, дайте додумать самое главное!

Что же именно, что?.. Что ты хочешь додумать, спросил врач или кто он там был. Но так же, как невозможно выразить в двух словах главный вопрос, невозможно дать и короткий ответ. Я понимаю — или догадываюсь, — вопрос о смысле моего существования есть одновременно вопрос, где оно, что оно такое — моё существование. В каких глубинах или, может быть, на каких высотах пребывает моё «я»? Кто задаёт этот вопрос? Стоит только спросить, что такое мое «я», как оно исчезает. Прячется в самом вопросе. Положим, я сознаю себя; но я сознаю и то, что во мне живёт это сознание, а значит, живёт и сознание моего сознания. Вот так и гоняешься между зеркалами за собственным двойником, за призраком самого себя.

Только сейчас до тебя доходит. Всю жизнь было некогда, жизнь отвлекала от жизни, вот в чём дело, милейший, не хватало терпения, не было смелости, мудрости всмотреться в неё. И только в эти последние мгновения становишься самим собой, сбрасываешь тряпье. Только в эти мгновения ты способен постичь истину. Ты сам становишься истиной. Ты, от которого уже ничего не осталось.

Медленно, медленно катятся оловянные воды. Даль в тумане. Завтра будет солнечный день. Завтра будут летать качели. Ещё ничего не произошло, вся жизнь впереди. Если бы знать, что ждёт. Если бы не знать... Еле слышный звук рождается в тишине, слабый плеск доносится, удар хвостом-плавником. Шевельнулась вода, пошли круги, сейчас она вынырнет.

Нагота не существовала сама по себе, кто-то должен был её видеть. Стоило потерять её из виду, как она исчезала, и осиротевшая память могла лишь перебирать мокрое покрывало тайны. На другой день, когда я увидел Соню и моего брата на площадке возле качелей, где был насыпан песок, и она стояла, заслонясь от солнца ладонью, голоногая и загорелая в своём пёстром платье,

когда я сказал с замиранием сердца, со злорадством, словно то, что произошло ночью, давало мне власть над ней: а я тебя видел! — то сейчас же почувствовал, что от моего самодовольства ничего не осталось, открытие не имело никакой цены. Секрет её тела, приоткрывшийся было, чтобы увлечь за собой в воду случайного соглядатая, замкнулся, как створки раковины, божественная нагота заволоклась, я глядел на Соню, словно никогда не знал её без одежды, я ничего не присвоил из увиденного ночью, в сущности, ничего и не видел, и презрительная гримаса на её лице как будто подтверждала это.

Нужно было зажмуриться, перевести стрелки назад, что и случилось, и опять (или впервые?) в реке поднялась фигурка, вся в серебряной чешуе, шла и не шла, танцует, балансируя тонкими руками, выступили соски, в тёмной воде просвечивал лунно-белый живот, бледная чаша бёдер; было зябко, холодно сидеть на песке, я встал, в этот час вода, разогретая за день, была теплей воздуха, плавать я не умею, но так тянуло искупаться! Это был не сон и не обман зрения, но моё зрение соткало из лунных волокон её округлившееся тело, и это тело тотчас перестало существовать, как только я вспомнил, что пора возвращаться, и я вовсе не был уверен, что видел её на самом деле, когда, подбежав к качелям, объявил или, может быть, хотел объявить: теперь я знаю, какая ты из себя.

Она посмотрела на меня с сонным, туповатым выражением, открыв рот, медленно наклонилась и стала яростно царапать свои голени цвета, который бывает у кожурки арахиса, оставляя белые полосы ногтей на загорелой коже.

«Какая?» — спросила она.

Подозреваю, что мой двоюродный брат Натан слышал эти слова. Что и подтвердилось. Кстати, он пропал без вести, и я тоже отправился бы на фронт, если бы война продлилась до осени, но в то утро никто ни о чём не подозревал. Он спрыгнул с качелей, отозвал меня в сторону и сказал, что нам надо поговорить. Нет, это мы потом пошли с тобой в лес, возразил я, а перед этим качались втроём на качелях. Он как-то легко со мной согласился, пожалуйста, сказал он надменно, если ты настаиваешь. Я не настаиваю, ответил я, просто так было. Мы вознеслись вверх, и полетели вниз, и снова вверх, и следом за нами проваливались и взлетали деревья, взлетало сонно платье, и её руки вцепились в доску, и глаза стали неподвижны-

ми. И особенным шиком, особым эффектным трюком было повиснуть, запрокинув голову, на цепях в мгновение, когда ты долетал до уровня перекладины, зная, и подумать молниеносно, что будет, если пальцы вдруг разожмутся. Всё это продолжалось до тех пор, пока Натка не сказал ей: ты побудь здесь, у нас мужской разговор.

«Надеюсь, ты не станешь отрицать, — сказал он, специально выбирая взрослые выражения, — надеюсь, не станешь отрицать».

«А в чём дело-то?» — спросил я, прекрасно понимая, в чём дело.

Он сказал: «Мне всё известно».

У меня заколотилось сердце, и я спросил: что известно?

«Всё», — отвечал он.

Мы выбрались из чащи, и пламя небес ударило нам в глаза; мы зажмурились.

«Что это ты там говорил, что ты её видел, — где ты её видел?» — небрежно спросил Натка, и я понял по его тону, что он всё-таки знает не всё.

Он поднял голову к верхушкам деревьев и сказал, что сегодня особенный день: солнцестояние. Я впервые слышал это слово, но на всякий случай переспросил: сегодня?

«Я бы вызвал тебя на дуэль», — продолжал он задумчиво, и я понял, что задавать вопрос, где он достанет оружие, излишне, так как его отец был военным, носил форму и портупею, и шпалу в петлице. Кроме того, я давно догадывался, что между Наткой и Соней что-то есть. Они были вместе, когда утром я сбежал со ступенек террасы. У него было преимущество, он был старше меня почти на два года. Но зато я видел то, чего он, конечно, не видел, и оттого, что он не знал, что именно я видел, я почувствовал, что в руках у меня козырь.

«Ну и вызывай», — сказал я.

«Жалко».

Я не понял.

«Убивать тебя жалко, — сказал он. — Впрочем, — и это тоже было особое, никогда не употреблявшееся слово, — впрочем, ты ведь всё это выдумал».

«Что выдумал?» — спросил я, сбитый с толку.

«Что она купалась ночью, всю эту чепуху. Ведь на самом-то деле, — добавил он, — ты там».

«Где — там?»

«В реанимации, где же ещё».

«Ну и что», — сказал я растерянно. Значит, он всё-таки знает. Где я и что со мной, всё знает. В это время мы уже пересекли поляну, прошагали по лесу, продрались через кустарник. Перед нами была река. Внизу, под обрывом, полоска песка. Вода у берега была тёмной, как графит, а дальше сверкала так, что было больно смотреть. «Мне её переплыть, раз плюнуть», — сказал Натан.

Мы побрели назад. Он стоял у сосны и стругал кору перочинным ножиком, который отец подарил ему ко дню рождения. Это было приятное занятие, резать мягкую сосновую кору. Заострить нос, подрезать корму и выдолбить углубление. Так как же, сказал он небрежно, не поднимая головы. Мы молчали, он отшвырнул кору, что́ как? — спросил я, и мы двинулись дальше.

«Имей в виду».

«Что — имей в виду?»

Я продолжал думать о реке, которая днём казалась совсем не той, в которой купалась Соня, и вдруг меня осенило, что днём она обыкновенная девчонка с исцарапанными ногами, а ночью русалка, и в этом скрыта разгадка, почему её нагота кажется невероятной, несуществующей наутро, — но я-то знаю, я видел. Конечно, я не стал об этом говорить, уж очень это всё звучало по-детски.

«Имей в виду, — проговорил Натка, — что она мне... — и тут он употребил грубое слово, которое я, конечно, знал, но сейчас оно было как удар молотком по темени. — Она мне дала!»

Я остолбенел.

«Когда?»

«Тебя ещё не было».

«Врёшь», — сказал я.

«Хочешь, спроси у неё. Она мне отдалась. Я её, — он сложил колючком два пальца и всадил туда палец другой руки. — Это чтоб ты знал».

Он взял нож за кончик лезвия, примерился и метнул в дерево. Я вырвал нож из ствола, отступил на пять шагов и тоже метнул, нож ударился о ствол и отлетел в сторону. Мне пришлось подобрать его и вручить Натану. А ты что, разве не заметил, сказал он немного погодя, но я не понимал, что он имел в виду. По походке, объяснил Натка, можно сразу узнать, целка или нет. Мы подошли к веранде,

кто-то выбежал навстречу, это была моя тётя, мать Натана, из кухни послышался голос: «Молоко убегает!», но тётя даже не обернулась, она молча смотрела на нас, закрыв рот ладонью, оказалось, что началась война.

Он, конечно, всё выдумал насчёт походки, и о том, что у него было с хозяйкиной дочкой, но мне нужно было знать наверняка, я решил спросить об этом Соню; только что проследовал десятичасовой скорый, стеклянная дверь приоткрылась, неслышно вошла в белом, но не дежурная сестра, а гостья; сестра стояла за её спиной. Сестра что-то объясняла укоризненным шопотом, по-видимому, хотела сказать, что это не время для посещений и что ко мне вообще никого не пускают.

Не на что было сесть, она стояла возле моего ложа, так называемой функциональной кровати. Я сначала не понял, кто это, за столько лет она изменилась до неузнаваемости, но не хотел быть невежливым, сделал вид, что узнал её. Ты не хочешь меня поцеловать, сказал я с упрёком. Она наклонилась и коснулась губами моего лба. По-моему, он умер, сказала она, повернувшись к сестре, которая стояла за стеклом. Сестра помотала головой. Мне стало смешно, я хотел сказать, что я действительно отдал концы, но не для неё, ведь иначе она бы не пришла.

Как замечательно, хотел я сказать, как прекрасно, что ты здесь, Соня... и тут же спохватился, это было недоразумение; ума не приложу, как это я не заметил, что женщина, стоявшая передо мной, босая, в одной рубашке, была вовсе не Соня.

Мне стало стыдно.

Она улыбнулась. «Ничего страшного, ты просто меня не помнишь, — сказала она. — Ты и квартиру нашу, наверное, не помнишь, квартира была пуста, кто-то позвонил с улицы, и ты побежал открывать».

«Нет, — растерянно пролепетал я, — то есть да... То есть как это не помню. Мы жили на первом этаже... А как же Чистые пруды?»

«Ну, это было уже после меня. Это было зимой».

Я всё ещё не мог понять и спросил: «Как ты здесь очутилась?»

Ведь ты, хотел я сказать, лежала в постели. Днём все на работе, в пустой коммунальной квартире, никого, кроме нас, нет. Ты была больна, ты всегда лежала в постели. А я сидел на полу. Вокруг меня выселись вещи. В этой комнате, которая казалась мне очень боль-

шой, я был как в целом мире. Я в ущелье письменного стола, между тумбами. Я в убежище под обеденным столом, скатерть, свисающая складками по углам, как занавес, скрывает меня от всех. В эту минуту кто-то позвонил в дверь. Я вылез и побежал отворять.

Я становлюсь на цыпочки, чтобы дотянуться до английского замка. Тотчас парадная дверь распахивается, там стоит незнакомка, и мы оба уставились друг на друга. Удивительная, огненноглазая, в красном, в лиловом, канареечный платок съехал на затылок, у неё чёрные конские волосы и тёмное сморщенное лицо. Моя мама выбежала в коридор, босиком, в рубашке, задыхаясь, схватила меня за руку и захлопнула парадную дверь перед носом у сморщенной тётки.

«В чём дело?» — спросил я.

«Я испугалась. Мы были одни в квартире. Все говорили, что цыганки ходят по домам и воруют детей».

«Тебе, наверное, холодно, босиком, в одной рубашке. Тебе врач запретил вставать».

«Ничего, ничего...»

«Тебе надо в постель».

«Нет, — сказала она, улыбнулась и покачала головой, — не хочу больше».

«Ты выздоровела?»

«Пожалуй. Можно сказать и так. Вот этого, — добавила она, — ты действительно не помнишь».

«Ты, — пробормотал я, — ты.. в этой посудине, за мраморной дощечкой? Это ужасно смешно».

«Смешно, но так принято».

«А что там написано?»

«Не знаю. Какое это имеет значение?»

Я согласился с ней, что это не так важно.

«Оставим это, — сказала она. Снова вошла сестра, они пошептались. — Я к тебе ненадолго».

Я ждал, что она меня приласкает, как когда-то, когда я расхаживал по комнате и подходил время от времени к ней. Мне даже казалось, — хоть я и понимал, что это чистая фантазия, — что я подбежал к ней с верёвочкой. «Обвяжи меня». Верёвочка были завязана вокруг пояса и крест-накрест, как ремни на гимнастёрке, сбоку висел карандаш, изображавший шпагу. Но она не шевели-

лась, молча и безразлично лежала на подушках, её глаза уставились в потолок, тонкие руки покоились поверх одеяла, впрочем, я ошибаюсь, она стояла рядом, молча, не сводила с меня печальных глаз и покачивала головой. Наконец, она прошептала:

«Вот я смотрю на тебя...»

«И что же?» — спросил я со страхом.

«Ты изменился».

И это всё, что ты мне можешь сказать, хотел я спросить и пожал плечами — пожал бы, если б мог.

«Из тебя ничего не вышло».

«То есть как».

«Не знаю. Не вышло, вот и всё».

Эта фраза показалась мне обидной. Я смотрел на мою мать с ненавистью. Я понял, что это и была цель её прихода — уколоть меня напоследок, сделать мне больно.

Она сказала:

«Ты был вся моя надежда. Ты казался мне необыкновенным ребёнком. Ты был похож на меня, а не на отца. А ведь я, что ни говори, была не совсем заурядной женщиной».

Да, думал я или хотел сказать. Ты писала стихи, рисовала, ты закончила консерваторию, ты тоже подавала большие надежды. Ну и что?

«Жизнь была тяжёлой, мы еле сводили концы с концами, а тут ещё эта болезнь. Я так и не оправилась после родов. Я уже не жила, я угасала. В сущности, это ты виноват в моей смерти».

«Выходит, я остался жить, а ты...»

«То, что я говорю, тебе никто не скажет. Ты никогда не был самим собой, вот в чём дело».

Чушь какая-то, бормотал я, что это значит — не был самим собой. А кем же?

Сестра вмешалась:

«Не надо его волновать».

Я сказал:

«Ты пришла меня упрекать. Ты хочешь отравить мне последние мгновения».

«Опомнись, — проговорила она мягко, — я и не думала. Дурачок. Ведь меня нет!»

И в самом деле, всё разъяснилось. Не на что было сесть. В наброшенном на плечи посетительском халате женщина, которую я не узнал, стояла возле моего ложа. Ты не хочешь меня поцеловать, спросил я. Соня коснулась губами моего лба. По-моему, он... сказала она, повернувшись к сестре, которая стояла за стеклом. Мне стало смешно, если это так, хотел я сказать, то уж во всяком случае не для тебя.

«Я случайно узнала», — сказала она.

Мои губы зашевелились, что́, что ты хочешь сказать, прошептала она, нагнувшись вплотную к моему лицу, да, муж получил новое назначение, мы тут проездом.

«Дня на три», — добавила она, выпрямляясь.

Значит, подумал я — или сказал, — ты сможешь побывать на моих похоронах.

«Ты поправишься», — сказала она.

Я усмехнулся. Сестра за стеклом делала нам знаки, чтобы мы говорили потише. Придёт врач и даст нагоняй. Соня стояла передо мной в лёгком демисезонном пальто, держа посетительский халат в опустившейся руке, из расстёгнутого пальто выглядывало светлое платье, ничего похожего на ту, загорелую, с расцарапанными ногами, которая только что стояла возле качелей, заслоняя ладонью от солнца, и всё же это была Соня.

Я боялся, что она уйдёт; надо было что-то сказать; брякнул наугад:

«Твой муж теперь, наверное, уже полковник».

Ответа не было. Не надо было об этом говорить.

«А помнишь, — спросил я, — как я тебя увидел, ты купалась ночью».

«Купалась, когда?»

«Voici la nudité, le reste est vêtement»¹.

Что это, спросила она. Я сказал:

«Это такие стихи».

Она растерянно, приоткрыв рот, воззрилась на меня, вероятно, подумала — он бредит, все вы так думаете, хотел я сказать, её губы зашевелились, где это я купалась, о чём ты, бормотала она, как будто сама сомневалась в том, что это она стоит возле меня, она, та самая Соня. И, чтобы окончательно ей доказать, я сказал:

¹ Вот нагота, а прочее — одежда (*фр.*, Ш. Пеги).

«Перед войной. Вернее, накануне. То есть в тот самый день. А Натку помнишь?»

Я не зря упомянул моего двоюродного брата, мне мучительно захотелось узнать, правда ли, что у них было.

Какую Натку, спросили её губы, стало ясно, что она всё забыла, но я настаивал, мне хотелось ей объяснить, понимаешь, продолжал я, для тебя это было давно, а для меня... пожалуйста, постарайся, сделай над собой усилие, это не так уж трудно понять. У меня мало времени, но это только так считается, на самом деле для меня времени вообще больше не существует, то есть его нет в том смысле, как его обычно понимают... это верно, что мне осталось совсем немного, вероятно, несколько минут, но опять же всё зависит от того, какой смысл вкладывать в эти слова: несколько минут.

Я устал объяснять то, что, в сущности, не требовало объяснений. Но мне нужно было всё-таки знать. Скажи правду, сказал я.

«Боже мой, — устало проговорила она и провела рукой по волосам, — какая тебе ещё нужна правда...»

«Ты их красишь?» — спросил я.

«Волосы? — Она усмехнулась. — Ты это и хотел узнать?»

«Это правда, что у вас тогда с Наткой?..»

Она смотрела на меня, вздыхала и качала головой.

«Бедный, милый... Совсем один. Теперь я вижу, что ты действительно очень болен. Позвать сестру?»

Её губы смыкались и снова шевелились, но я понимал все слова.

Но сестра и так не спускала с неё глаз и время от времени делала нетерпеливые знаки за стеклом. Разговор наш прервался, как мне казалось, в тот момент, когда нам надо было так много сказать друг другу. Было невозможно предложить Соне подсесть ко мне, кровать слишком высокая. С ужасом, словно только сейчас заметила, открыв рот и качая головой, она поглядывала на все, что меня окружает, на мои исколотые руки, на аппаратуру. Всё-таки странная идея, пробормотал я, купаться ночью, одной. Между прочим, меня в детстве однажды вытащили из воды, это было на Чистых прудах, хочешь, расскажу? Я провалился под лёд.

Она молчала, смотрела на меня затуманенным взором, — что-то знакомое, сонно-туповатое было в Сонином лице, — и все покачивала головой. Дверь открылась, вошёл, прыгая на костылях, Натан. Я рассмеялся.

«Лёгко на помине!» — сказал я.

«Кто это?» — спросила Соня.

Натан сказал: «Побудь там пока. У нас мужской разговор». Он был худ и острижен под ноль.

«Вот видишь, — сказал я, когда она вышла, — она тебя не узнала. Она тебя не помнит».

«А что она вообще помнит!»

«Я как раз собирался спросить у неё...»

«Чего спрашивать, — сказал он презрительно, — конечно, было».

«Но она ничего такого не помнит!»

«Не хочет говорить, вот и всё».

Упавшим голосом я спросил, как же всё-таки... как это произошло? Ведь мы оба едва успели свести с ней знакомство.

Мой двоюродный брат насмешливо взглянул на меня.

«Вот теперь я вижу. Ты действительно не того. Ведь я это всё выдумал; а ты поверил? Мальчишеское бахвальство. Но признайся: ты ведь тоже придумал, будто видел её в реке?»

Я ничего не ответил, мне не хотелось его разочаровывать. Я испытывал необыкновенное облегчение. Надо было переменить тему.

«Слушай-ка, что я хотел спросить... Ты... действительно?»

«Опять, — сказал он досадливо. — Меня уже спрашивали».

«Кто спрашивал?»

«Там... когда я пришёл. Откуда я такой явился... Да, да, да. Зато ты уцелел. Сумел-таки увильнуть!»

Я хотел возразить, что до меня просто не дошла очередь. Осенью меня бы призвали. Натка поглядел через плечо.

«Покурить охота. А?»

«Валяй, никто не видит».

Он извлёк кисет и зажигалку из болтающейся штанины.

«Так вот, значит... Обучение, то да сё. А какое там обучение, показали, как надо целиться, и пошёл. Я и воевать-то толком не успел, сразу попали в пекло. — Дежурная сестра появилась за стеклом, он уронил самокрутку и наступил на неё ногой. — Да чего вспоминать. А ты, значит, загибаешься?»

«Уже загнулся», — сказал я.

«Торопись. К нам никогда не поздно».

«Значит, ты...»

«Так точно. — Он вытянулся и взял под козырёк, придерживая локтем костыль. — Пропал без вести, ваше высокоблагородие!»

На что я холодно возразил:

«Отставить. Без пилотки честь не отдают».

«А между прочим, где я её оставил... Ты не знаешь?» — пробормотал он.

Я спросил:

«Ты хочешь сказать — убить?»

«Не обязательно. Тут есть разные возможности. Много возможностей. Можно, конечно, сразу отдать концы, это во-первых».

Мы услышали дальний грохот, потом всё ближе.

«Громче! — простонал я. — Ничего не слышу».

Гром, свист.

«Я говорю, первая возможность! — орал Натан. — Мы уже в Кюстрине, до Берлина рукой подать. Двадцать армий, два с половиной миллиона, представляешь? Катюши, гранатомёты, дальнобойные орудия — триста стволов на каждый километр. Подвезли прожектора, я сам видел. Только вот ошибочка вышла, я тебе скажу».

«Тебя убили?»

«Да я не об этом. Мясник этот ошибся».

Я хотел спросить, какой мясник.

«Е...на мать, не знаешь, что ли! А, — он махнул рукой, — что вспоминать. Думал после артподготовки ослепить немцев прожекторами, и — за родину, за Сталина, с ходу займём высоты, а что получилось?»

Он раскашлялся, умолк, мы оба ждали, когда закончится адский свист и грохот.

«В общем, лежим, ждём. До рассвета ещё, наверно, часа три. Впереди у немцев сплошное зарево по всему горизонту, загорелись леса. Короче, всё застлало дымом, и фокус с прожекторами не вышел. Да ещё местность сплошное болото, топь, в канавах вода по брюхо, снег только успел стаять. Побежали вперёд, ура, со знаменем, а где тут побежишь. Техника вязнет, люди еле успевают вытаскивать ноги из грязи. Немцам только этого и надо. Немцы тоже ведь не дураки...»

Не может наговориться, подумал я. А времени в обрез.

«Где это было?» — спросил я.

«Я же говорю — зеловские высоты. Зéлов, есть такой. За Кюстрином километров двадцать. В общем, все там остались. Кроме тех, кто дальше шёл в наступление».

Меня беспокоила мысль: где Соня? Она могла не дожидаться и уйти. Ещё немного, встану и пойду её искать.

«...подорвался на mine или что там, плохо помню, пришел в себя, а не надо бы. Часа три промучился, никому до тебя дела нет, много вас таких. Сначала холодно, потом всё теплее, теплее, и на небо. Шучу... Я, может, там так и остался, война кончилась, а я уже того, сгнил. Вот тебе одна возможность».

«Слушай, Натка, — сказал я. — Может, хватит об этом? Тебе ведь и самому, наверно, не так уж приятно вспоминать. Писем от тебя не было, это мне твоя мама рассказывала, похоронок тоже не было, ты пропал, что с тобой приключилось, никто не знает, ты не вернулся. Так что всё это, наверно, я сам и придумал, мне ведь тоже ничего не известно...»

«Чего придумывать-то, чего придумывать! Нет, ты постой, я ещё не договорил. Короче, я эту возможность не использовал. Подобрали-таки... Ампутация бедра в верхней трети, ничего не помогло, гангрену не остановили, напрасно трудились. Вот тебе вторая возможность. А кстати, — спросил Натан, — не знаешь, долго это ещё продолжалось?»

«Война? Но ты же...»

«Откуда мне знать, — сказал он. — А в общем-то мне всё равно!»

Я почувствовал, что вязну в какой-то путанице. На всякий случай я спросил: а когда, собственно, это случилось?

Человек в шинели крикнул вместо ответа, нагнулся, держась за составленные костыли, и подхватил с пола раздавленный окурок.

«Случилось, и ладно. Могло быть хуже. Могло обе ноги оторвать. И яйца заодно. Хотя — зачем они мне? Всё дело в том... — бормотал он, разглядывая окурок, извлёк кисет из выгоревших галифе, ссыпал остаток табака, сунул кисет обратно, — всё дело, говорю, весь философский смысл в том, что на каждом повороте появляются новые возможности».

«Да, но вероятность бывает разная».

«Что значит вероятность? Даже самая маленькая вероятность возьмёт да и сбудется, а невероятностей не бывает. Вот ты

со мной споришь, а сам думаешь: встану и отправлюсь на поиски. Это, конечно, маловероятно в твоём положении. Но нельзя сказать, что совсем уж невозможно. Слушай... а сколько сейчас времени, мне ведь тоже пора».

Сейчас потушат свет, сказал я, только что прошёл десятичасовой поезд.

«Ну и, наконец, еще одна возможность, самый лучший выход».

Он наклонился, повис на костылях, сопел, дышал мне в лицо, «молчи, — зашептал, — никому ни слова!» — и погрозил пальцем.

«Пропал без вести, понятно? Ничего тебе не понятно! Что это значит? Это значит, пропал и всё, оторвался с концами, и привет. И никто никогда не разыщет... а ты знаешь, сколько таких пропавших? Ничего ты не знаешь. Целое человечество в нашем веке пропало без вести. Ну, до скорого!»

Так, с поднятым пальцем, он и удалился, упрыгал прочь, и я остался в синем свете ночника наедине с моим бодрствующим мозгом. Меня снова поразила мысль о том, что едва только я начинаю прозревать, едва начинаю различать подлинную действительность и, кажется, вот-вот подберу ключ к моей жизни, к этой шифровке, — как приближается последняя минута моего существования. Как будто это и есть условие, на котором мне дают шанс понять, для чего я жил, что означала моя жизнь.

Соня, пробормотал я, твоё явление чудесно, невероятно, оно напоминает мне ночь, когда я сидел на песке и прислушивался: вот-вот плеснёт вода, всплывёт русалка, покажутся её плечи и грудь в лунной чешуе. И ещё встает перед глазами озеро... помнишь ли ты или уже забыла наши места, заболоченную тайгу?

«Сказка, легенда. Не было никакого озера».

«Для кого легенда, а для кого... Сейчас я тебе покажу, мне всё равно пора вставать...»

«Ради Бога... сестра увидит...»

«Не увидит. Можешь не волноваться».

«У меня будут неприятности».

«Ну, как хочешь», — я пожал плечами.

«Я уж собралась на вокзал, — сказала она, — что он тебе тут наговорил?»

«Болтовня, бред, не стоит об этом. Между прочим, он тебя хорошо помнит...»

«Меня, откуда?»

«Помнит, и как мы на качелях качались, помнит. Хрен с ним, забудем об этом. Главное, мне посчастливилось его найти».

«Кого найти?»

«Не кого, а что. Озеро, всё в камышах... я его видел своими глазами. Ты не поверила, пока сама не убедилась».

Да, но ведь это было потом, прошелестели ее губы.

«Что значит потом?» Позже, раньше, какая разница, хотелось мне возразить, ты, дорогая, барахтаешься в тенётах грамматики. Для тебя все это непреодолимо... А для меня существует одно только вечное настоящее.

Я есмь истина.

«Ты бредишь. Нет, ты не бредишь, ты умираешь. Я сейчас позову сестру и скажу, что ты умираешь».

«Возможно; впрочем, не совсем». Я хотел сказать, что у меня ещё остается немного времени — то есть, конечно, в том смысле, как она понимает это выражение: немного времени.

«К твоему сведению, это был Натка», — сказал я.

«А! вспоминаю».

«Между прочим, он мне наврал, он сказал, что у тебя с ним кое-что было».

«Что было?»

Я показал, сложил два пальца колючком.

«И лут сверкал синими брильянтами. Скажи... это действительно враньё?»

«Фу. Как тебе только не стыдно».

«Но он бегал за тобой».

«Что значит бегал?»

«Это было такое словечко. Был влюблён в тебя».

Мало ли кто был влюблён — она пожимает плечами.

Помнит ли она ту минуту, когда она отперла замок и сняла железную перекладину, отперла дверь ключом, но не сразу вошла в магазин, стояла на крыльце?

«Помню», — сказала Соня.

И сделала вид, что меня не узнала?

«Как я могла узнать, через столько лет...»

«Не так уж много».

«Да, но...»

«Конечно, в телогрейке, острижен под нулёвку, где меня уз-
нать...»

«Это судьба».

Я вздохнул. При моём сравнительно небольшом сроке, протру-
бив половину, можно было надеяться, что меня расконвоируют. У
большинства двадцать пять лет, бывшие военнопленные, изменни-
ки родины, попади, например, в плен мой двоюродный брат Натан.
Он бы из немецкого лагеря загремел в наш лагерь. Если бы остался
жив, если бы не узнали, что он наполовину еврей, если бы дотянул
до конца войны, он бы тоже схватил четвертной. А я? Мне вообще,
Соня (хотел я сказать) всю жизнь везло. Меня не успели убить на
войне. В лагере у меня был маленький срок — по сравнению с боль-
шинством. На каждом ОЛПе надобность в бесконвойных велика, —
хозводители, пожарники, сторожа, мало ли всяких работ, но кому я
рассказываю, ты сама прекрасно знаешь.

Развод кончился, оркестр — у нас был оркестр из заключён-
ных — умолк, бригады потопали в оцепление, бесконвойные ждут
перед вахтой, рыл десять от силы на весь лагпункт, я же говорю, у
большинства — четвертной.

Показываешь в окошко пропуск, гремит засов на вахте, и вы-
ходишь — свободный человек! За спиной у тебя ворота с флажками
и лозунгом, вышка над вахтой, столбы с проволокой, запретная по-
лоса, древнерусский тын из высоких толстых жердей, сверху наклон-
нённые внутрь ряды колючей проволоки, лампочки наружного ос-
вещения, и над всем этим вышки с прожекторами, всё позади, —
иди, никто не остановит, куда хочешь — с той лишь оговоркой, что
не захочешь. И, однако же, побывав на разных должностях, и воз-
чиком, и в бане для вольняшек, и ночным дровоколом на электро-
станции, и сторожем на лесоскладе в дальнем оцеплении, я ухит-
рялся ночью ходить за сколько-то километров в деревню, там у ме-
ня была одна...

«Это ещё кто?»

«Так... одна».

«Ты мне об этом не рассказывал».

«На подсочке работала».

«Что это?»

«Там был химлесхоз. Делали такие насечки на сосне и собира-
ли смолу».

«Дальше».

«Что дальше?»

«Рассказывай дальше».

«Ах, Соня, к чему это? Будем считать, что этого не было».

«Но это было...»

«Что я хотел сказать... О тебе... Муж начальник лагпункта, не кол собачий».

«Не надо так».

«Удельный князь с дружиной».

«И вообще не надо об этом».

«Его перевели к нам на север, пятое отделение Белый Лух — Поеж — Лапшанга, когда это было?»

«Не помню. Не хочу вспоминать».

«Надо же было встретиться».

«Это была судьба».

Тишина, синий свет ночника. Только что простучал во тьме десятичасовой поезд.

«Вот именно, Сонечка. Лагерное существование, как тебе объяснить. Это дело обыкновенное, образ жизни русского человека, лагерь — это судьба, а что, собственно, означает это слово? Обыкновенную жизнь. Рассказать жизнь невозможно. Так и лагерь рассказать невозможно. Надо же было выйти за такого человека замуж».

«Я его любила...»

«Где он тебя подцепил, можно спросить?»

«Наш дом в войну сгорел».

«Дача?»

«Когда немцы подходили, всё вокруг горело, весь посёлок. Наши, когда отступали, подожгли».

«И качели сгорели?»

«Не знаю; наверно. Мы когда вернулись, не было ни кола ни двора. Поселили нас в бараке, и то благодаря тому, что отчим инвалид Отечественной войны... Моя мама вышла за него в эвакуации. Он приехал без ног».

«Да, но ты-то, ты...»

«Где с мужем познакомилась? В клубе на танцах. Он говорил, что он в командировке. Потом стали встречаться».

«Он тебе сказал, что он в этой системе?»

«Он говорил, что он на секретном объекте. Я девчонка была. Меня это всё очень интриговало. И вообще, такой видный из себя. Потом сказал... когда уже мы расписались. Я говорю, чего ж ты от меня скрывал. Не имел права, государственная тайна, сама должна понимать. Тебе тоже придётся заполнить анкету. Подписку дать о неразглашении...»

«А о том, чтобы не вступать в связь с заключённым, ты тоже давала подписку?.. Извини», — сказал я, и мы оба умолкли.

Она смотрела куда-то мимо меня, мой двоюродный брат сидел на качельной доске, мы оба были влюблены по уши, и он, конечно, слышал мои слова и хотел отомстить мне за то, что я увидел её ночью, хвастался своим умением метать нож и сказал, что мог бы вызывать меня на дуэль.

А всё-таки, думал я, мне тогда показалось... когда ты стояла на крыльце.

«Что я тебя узнала?»

Я мигнул в ответ, я лежу и говорю с ней глазами, потому что от меня уже почти ничего не осталось. Но зато я кое-что начинаю постигать. Ключ к шифру жизни, Соня, вручается тому, от которого ничего уже не осталось. Нужно добраться до конца, до обрыва, как я тогда, перед тем как увидеть тебя в воде, и обреть истину. Развод кончился, колонны рабов отправились на работу, была ледяная весна, солнце успело взойти, наше жёлтое, таёжное солнце, точно так же оно блестело сквозь пелену облаков, когда татары добрались до Китежа и ничего не увидели, кроме озёрной глади в камышах. Я стоял перед запертыми воротами со своим возом-ларём на двух лесовозных вагонках, соединённых цепями, с кольями по бокам, чтобы не дать ящику соскользнуть, с двумя парами колёс с обеих сторон, и колёса катятся по деревянным лежням, как по рельсам. Лежни проложены из зоны за ворота и там расходятся по сторонам.

Нормальная жизнь, Соня, далёкий год, единственный, как на Сатурне, где год равен тридцати земным годам. И кто знал, что так получится? Судьба велела тебе выйти замуж за лагерного офицера, судьба сделала меня бесконвойным. Вахтёр в изжёванном картузе, в ватной телогрейке, в армейских травянистых галифе и гремучих сапожищах, сошёл с крыльца, отворил дверцы ящика, осмотрел полки, нет ли чего лишнего, буханки, ещё тёп-

лые, пахучие, лежали в три ряда, я возил хлеб в магазин для вольнонаёмных из пекарни, которая находилась в зоне. Вахтёр захлопнул дверцы и пошёл открывать створы ворот. И солдат-азербайджанец пел тягучую песню на вышке, над крышей вахты. Лошадь дёрнулась, закивала головой, завизжали колёса. Выехали и повернули налево, мимо домика вахты. И дальше, вдоль тына, минуя угловую вышку, к посёлку сил и начальств, там же где-то и терем князя, помнит ли она это утро, спросил я.

Ещё бы не помнить.

Воз подкатил к магазину. Напротив будка ночного сторожа, там лежит овчинный тулуп, превратившийся в руину, я дремал там, скорчившись на полу, вылезал наружу, расхаживал под звёздным небом, заходил погреться в пожарку, где огромный рукастый мужик по имени Дуля, западный украинец, жарил в печке колбасу из крови и требухи, дар начальства, для которого Дуля делал настоящие колбасы из мяса.

Магазином заведовала, и она же была продавщицей, злобная тётка, жена оперуполномоченного, иной жены у него и не могло быть. И казалось мне, я уже слышу её жирный голос, она командовала, расставив ноги и сложив руки под огромной грудью. Вот бы цапнуть за эту грудь, что бы она запела? Лошадь стояла, понурившись, в оглоблях, которые подцеплялись к крюкам на передней вагонке, дверцы хлебного ящика были распахнуты, с горкой буханок на руках я повернулся, чтобы нести в магазин. Но никакой жены уполномоченного не было, на крыльце стояла ты, и точно так же, как в реке, облитой лунным оловом, точно так и тем же самым жестом, когда ты высматривала кого-то, заслонясь ладонью, утром в день солнцестояния, возле качелей, так и теперь ты смотрела из-под руки, ты посторонилась, пропуская меня с буханками, и не взглянула на меня. Я поехал назад, распряг лошадь и отвёл в конюшню, брёл в зону, к своему барраку, никого не видя, ничего не слыша, вошёл в секцию и повалился на нары. Я знал, что на крыльце стояла ты.

«Ты в самом деле меня не узнала?»

«Ты уже спрашивал».

«Я ещё хочу тебя спросить, мне это очень важно... ведь он тогда врал, когда говорил, что у него с тобой было?.. Ага, — вскричал я, — значит, ты всё помнишь. И озеро помнишь?»

«Не было там никаких озёр. Это всё легенда, — сказала Соня и оглянулась на дежурную сестру, которая стояла за стеклом моего бокса и делала нетерпеливые знаки. — Сейчас... две минуты», — пробормотала она с мольбой, с досадой. И, как всегда бывает, когда срочно надо что-то договорить, мы умолкли.

«Итак?» — спросила она или вообще кто-то.

Я вздохнул, лучше сказать — перевёл дух. Итак, я подъехал. Бросил вожжи на спину лошади, открыл дверцы ящика и стал выгружать хлеб. Одна буханка упала на землю. Я ждал окрика — жирный голос жены оперуполномоченного раздался. Я дорожил своим местом. Зимой, в лютый мороз, когда двухметровые берёзовые плахи раскалываются, как орехи, я работал ночным дровоколом на электростанции, там со мной кое-что случилось, я провалился сколько-то времени на больничном лагпункте Керженец, а вернувшись, был признан негодным, на электростанции вкалывал другой. Я качал воду и топил баню для вольнонаёмных. Я был ночным сторожем на лесоскладе в сто первом квартале, от лагпункта километров десять; сплошь болото, идти можно только с палкой по лежнёвке. Теперь я сторожил возле магазина и возил по утрам из пекарни хлеб для вольняшек. Завпекарней был уголовник, важная птица, он и мне иногда давал что-нибудь.

«Можешь мне не рассказывать».

А я ему за это — с риском, само собой, — проносил кое-что из-за зоны: цыбик чаю для чифиря, пачку духовитого мыла, одеколон выпить. Вся жизнь, если хочешь знать, устроена по лагерному образцу, лагерное существование есть нормальный образ жизни, я знал людей, которые боялись конца срока, с тревогой ждали освобождения. Я знал разных людей, Соня. Буханка упала, я поспешно подобрал, никакого окрика не последовало, не было больше жены уполномоченного, на крыльце магазина стояла ты. Что это за шум, спросил я.

«Это аппарат, он дышит вместо тебя».

А... ну пусть дышит. Нет, лучше пусть уберут, мешают говорить. В общем, будем считать, что мы друг друга не узнали. И ничего бы не было, если бы не эта случайность... этот щит.

«Это была судьба. Ничего бы не случилось, если бы не судьба».

«Но судьба — это и есть истина, ты как считаешь?..»

Загремел засов на вахте. Это было такое устройство, чрезвычайно практичное, в лагере вообще было много изобретений, ла-

герь сам — гениальное изобретение. Не надо каждый раз выходить и проверять, кто идёт. Надзиратель смотрит в окошечко, показываешь пропуск. У него там рычаг, он нажимает, засов отодвигается. Магазин работает до восьми, а время — начало девятого. Она выходит на крыльцо, машет рукой, начальственным жестом, чтобы я помог ей навесить щит. Я человек крепостной, у нас крепостное право, мы все крепостные. Что велют, то и делаем. Щит из сколоченных досок прислонён к окошку, она берётся с одной стороны, я с другой, нет, говорю я, отойдите, поднял и поставил щит на подоконник, теперь брус, я держу щит, она просовывает в скобы деревянный брус, который удерживает щит, мы стоим рядом, в магазине полутемно, мы стоим рядом и не смотрим друг на друга, дверь закрыта, если кто подойдёт, шаги будут слышны на крыльце, и действительно, кто-то подходит, опоздавшая покупательница или кто там, сейчас заметит, что железная перекладина висит рядом с дверью, значит, магазин ещё не закрылся, мы стоим рядом, судьба спасает нас, шаги удаляются, щит закрыл окошко, темно, и я обнял тебя, Соня.

Я видел тебя ночью, в лунной чешуе, ты поднялась и шла к берегу, и вода постепенно опускалась вокруг тебя, ты меня не заметила, и наутро твоя нагота вновь окуталась тайной.

Она вырвалась. Несколько мгновений она стояла, глядя в пол, медленно подняла голову и вздохнула, словно нам обоим предстояло выполнить тяжёлый долг.

«Как тебе не стыдно...» — проговорила она и покосилась на дежурную сестру, но сестра, на наше счастье, исчезла.

«Ангел смерти», — усмехнувшись, сказал я.

«Как тебе не стыдно, ты же мужчина. Ты не сдвинулся с места... ты хотел, чтобы я первая».

«Я заключённый, Соня. А ты была начальница. Да ещё какая: жена князя».

«Перестань... почему ты называешь его князем?»

«Потому что я смерд».

«Я заперла дверь на ключ. Почему ты медлишь?»

«Потому что я тебя люблю».

«Этого не может быть. С тех самых пор?»

«Здесь темно, но я тебя вижу».

«Что ты видишь?»

«Я вижу тебя всю. Ты такая же».

«Если бы ты вошёл в воду...»

«Я боюсь воды. Меня однажды вытащили из проруби».

«Если бы ты меня подождал».

«У меня оставалось мало времени».

«Теперь мы будем вместе».

«А как же твой муж?»

«Никак, — сказала она. — Муж одно, а ты другое».

«Муж — это муж», — сказал я.

«Я буду тебя ждать. Когда ты освободишься, я с ним разведусь».

«А до тех пор?»

«А до тех пор так и будет».

«Ты часто с ним спишь?»

«Иногда».

«Ты его любишь до сих пор?»

«Не знаю. Так, как с тобой, у меня с ним никогда не было».

«Но ведь ты что-то чувствуешь, когда ты с ним?»

«Чувствую. Я же не колода».

«Тебе бывает приятно?»

«Иногда приятно»

«Он пьёт?»

«Все пьют. Ну и что?»

«А то, что меня не никогда не освободят, вот что».

«Почему это?»

«Потому что у меня такая статья. Кончится срок, его продлят автоматически. Или в ссылку».

«Куда?»

«Почём я знаю. Далеко».

«Я к тебе приеду».

«В ссылке ещё хуже, чем в лагере».

«Зато будем вместе».

Мы всегда вместе, хотел я сказать. Мы там так и останемся. Где там? — прошелестели её губы. Магазин состоял из двух комнат. Во второй помещался склад. Мы устроили там ложе из ящичков. Каждое утро я разгружал хлеб. Покупательницы стояли и ждали. Все тебе завидовали. И твоему месту, и то, что ты жена князя. Он был капитаном, теперь, наверное, полковник? Нет, сказала она, после

той истории повышение откладывали несколько раз. Нас перевели на другой лагпункт. А потом он и вовсе ушёл из этой системы. Из этой системы не уйдёшь, хотелось мне возразить. Эта система вечная. Кто там побывал, даже если удалось ускользнуть — вернётся. Всё равно, кто он: князь или смерд. Как смерч, неслась по зоне весть о том, что капитан обходит свои владения. Лазают по баракам, как это называлось, — после развода, после того, как нарядчик обнюхает секции, отловит отказников, когда дневальные в пустых секциях принимались за уборку. Капитан вошёл, с ним помпобыт и два надзирателя. Дневальный с шваброй, навьютяжку. А это кто там? На верхних нарах в углу. Это я, Соня, лежу, притворившись спящим, потому что с начальством лучше не связываться. Ты думаешь, я лежу здесь в боксе на функциональной кровати, но ведь кровать — те же нары, в некотором смысле. Я лежу и слышу пропитый голос капитана, и знаю, что он сегодня ночью с тобой спал, но он не знает, что накануне вечером ты принадлежала мне. Ночной сторож, отвечает помпобыт. Почему не в секции для бесконвойных? Гремят сапоги, капитан со свитой покидает секцию. Раз в неделю я ездил на станцию Поеж за продуктами. Наше княжество самое северное. От нас до комендантского лагпункта ехать в теплушке полсуток. Когда затеялось дело — когда всё это открылось, меня везли в теплушке, и я просидел в тюрьме месяц. Мне добавили срок и отправили на штрафной, на самые тяжёлые работы. До этого сидел в изоляторе у нас на лагпункте, пока опер-кум трудился над оформлением дела, для него это была находка, он давно копал под капитана. Потом повезли, как обезьяну в клетке, на комендантский. Это только так называется — теплушка, на самом деле стучишь зубами от холода всю ночь. Конвой сидит в тамбуре, там у них железная печка. Наше пятое лаготделение в керженецких лесах. Лагерь движется всё дальше, год на Сатурне тянется тридцать лет, лагерь вгрызается в тайгу, оставляет после себя заброшенные насыпи железнодорожных усов, полусгнившие штабеля невывезенного леса, кладбища полуобгорелых пней, пустыню чёрного праха. И сколько ни истребляли лес, ни до какого озера не добрались. Легенда, бред твоего угасающего сознания. Ты наедине со своим сознанием, как тот, кто склонился над своим отражением в воде.

«Однако ордынцы его нашли, — сказал я. — Надо уметь искать».

Нет там ни лежнёвок, ни гатей, и конём туда не проедешь, только лазутчики, знавшие эти места, видели чудный город, и следом за ними, сперва по Керженцу на узких лодчонках, потом всё дальше уходя от реки в таёжную глубину и тьму, хлюпая в болоте, обходя трясины, под тучами мошкары отряд монголов, сорок воинов, молча, тайно продирался через подлесок. И вдруг увидели просвет, голубое небо, и вот оно, серебряное, лазоревое, недвижимое — чудное озеро Светлояр, тёмное у берегов от леса, поднявшегося со дна. Но на самом деле это не лес на дне, а лишь отражение берегов. А где же Китеж? Лазутчики разводят руками.

Она сказала:

«Это всё Ферапонтиха».

«Верно, Соня. Я совсем забыл, что фамилия оперуполномоченного была Ферапонтов. И забыл про жирную тётку. От которой, между прочим, мне житья не было... Откуда ты знаешь?»

«Знаю. Это она пронюхала. Она до меня заведовала магазином. Мы не будем открывать».

«Да. Мы не будем открывать».

«Пускай ломают дверь».

«Пускай. Тебе надо одеться».

«Они ушли».

«Пошли за ломом».

«За отмычкой. У лейтенанта есть отмычка. Может, тебе выйти? Потихонечку. Я сейчас открою».

«А ты?»

«Что-нибудь наплету. Выходи скорей, пока их нет».

«Бесполезно. Они же видели — сторожка пуста».

«Они сейчас вернутся. Вот... переговариваются, слышишь? Я так и знала, я чувствовала. Представляешь себе, что будет. Заключение, с женой начальника, ночью. Что они с тобой сделают?»

«Ничего».

«Что они с тобой сделают!»

«Да пускай хоть на куски режут. Я неуязвим, Соня. От меня уже ничего осталось, я свободен».

«Там никого нет. Милый, родной. Уходи».

«Соня, — проговорил я. — Это правда. Никакого Китежа нет, там одно пустынное озеро. Там тишина, там даже птиц не слышно. Но если прислушаться, кое-что услышишь. Соня, я знаю дорогу, мы

обойдём трясину. Там такой густой ельник, что в трёх шагах ничего не видно, неба не видно. Но я знаю, как добраться. Ты увидишь, нет больше никакого Китежа, пропал Китеж. Мы с тобой сядем передохнуть и услышим. Это колокольный звон. Колокола бьют, и вода чуть-чуть колеблется, ты сама увидишь, если присмотреться. Соня, мы с тобой уйдём, и никто нас никогда не разыщет. И будет считаться, что мы с тобой пропали без вести. Я боялся воды, меня когда-то вытащили из проруби, но теперь я больше не боюсь, и даже хорошо, что я не умею плавать. Я возьму тебя за руку и скажу: вставай, пошли. А как же, ты спросишь, прямо так, в одежде? Конечно. Вот так, взявшись за руки, здесь дно сначала мелкое. И никто нас больше не увидит. Пусть хоть целый взвод с собаками пойдёт по следу, пусть оцепят всё княжество. Пускай объявят всесоюзный розыск, нам-то что. Мы пропадём без вести! Уйдём за тридевять земель от этой Ферапонтихи, и от кума, и от князя, и от вышек с прожекторами, от всей этой гнусной жизни и Богом проклятой страны уйдём прочь, они продерутся сквозь чащу, выскочат на берег с псами, с автоматами, сами как псы, — а нас, ха-ха! Ищи, свищи».

«Бегите за врачом, — сказала она. — По-моему, он умер».

ЭТЮД И ЭХО

К рассказу «16 января 192*»

Это — не комментарий для недоумевающего читателя, но скорее «опыт литературы» (по Морису Бланшо), требующий от автора уяснить себе кое-что, избегая аллегорических толкований, которые прямо-таки напрашиваются в рассказе.

Повествователь остаётся анонимным, неизвестно и не важно, кто он такой. Юнец, у которого всё впереди.

Действие происходит после великой победы над иноземным завоевателем, которую ещё не отличают от поражения, и победы государства над собственным народом. Миллионы раненых, искалеченных, полумёртвых, полуживых возвращаются с полей войны в эшелонах, меченных красными крестами в белых кружках, на госпитальных судах, в тряских телегах, в колоннах санитарных фургонов по залитым грязью дорогам. Таков подразумеваемый фон, или пролог, рассказа.

Вырисовывается, словно наведённое на фокус, конкретное место действия — город детства, старый, бывший доходный дом с его кишечником — этажами лестниц, лабиринтами коммунальных квартир, коридоров, кухонь, где шарахаются от постороннего взгляда тени умерших обитателей.

Что касается времени, оно здесь, можно сказать, главный герой, распорядитель происходящего, о чём и предупреждает эпиграф из Элиота; время — это Будущее.

Будущее прячется в будущем; тавтология оказывается необходимой для того, чтобы описать природу этой стихии — незримой реальности, которая существует, ещё не существуя, и как будто уже готова распахнуть дверь, споткнуться о порог. Призрачное присутствие надвигающегося грядущего обманчиво, непостижимо и порождает, по Хайдеггеру, экзистенциальный страх. И как оправдание этого страха — маскированная, вся в чёрном, гостья, незваная, словно сама судьба, является на именины к рассказчику.

В замкнутой цитадели прошлого, — ведь дом есть не что иное, как воплощённое прошлое, — оба, именинник и пришелица, предоставлены самим себе. Не в силах противиться демоническому шарму самозваной подружки, повествователь ещё не догадывается, что его страх и трепет — страх перед роком, другими словами, страх перед женщиной, ведь пол, — это тяжкий долг. Страх, а не плотское вожделение, тотчас подавляемое, господствует над его переживаниями, страх, не отличимый от страха смерти. Вдоль перил наверх, по ступеням лестниц, истоптанных поколениями, мимо обиталищ, населённых тенями, вцепившись в послушную руку жертвы костлявой рукой, судьба, которая явилась в образе женщины, облачённой в траурный шёлк, страстной и нетерпеливой, увлекает его за собой. И сон, сразивший любовников после объятий, нашептывает автору сюжет этой короткой повести.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГРЁЗЫ РОМАНИСТА

ПАНСОФИЯ, ИЛИ ГАРМОНИЯ МИРА

В 1831 году, в первых числах января в Веймаре восьмидесятилетний Гёте завершает последний акт 2-й части «Фауста. Chorus mysticus, мистический хор, поёт:

Alles Vergängliche
Ist nur ein Gleichnis;
Das Unzulängliche,
Hier wird's Ereignis;
Das Unbeschreibliche,
Hier ist's getan;
Das Ewig-Weibliche
Zieht uns hinan.

«Всё преходящее есть лишь подобие. Всё недостижимое здесь становится событием. Всё неопишное содеяно здесь. Вечно-Женственное влечёт нас туда, ввысь».

Пастернак переводит:

Все быстротечное —
Символ, сравненье.
Цель бесконечная
Здесь — в достиженье.
Здесь — заповеданность
Истины всей.
Вечная женственность
Тянет нас к ней.

Замечательное переложение. Но, конечно, не передающее глубины и таинственности, и волшебную музыку оригинала.

Всё преходящее есть лишь подобие. В одном из фрагментов Новалиса черты лица сравниваются со строением тела. Адам Кадмон, первочеловек в учении Каббалы, есть некая партитура Вселенной. Уподобление человека миру, микрокосма макрокосму, — фун-

даментальная идея пансофии, или всеобъемлющего знания, о котором грезило позднее Средневековье. Завладеть этим знанием жаждет доктор Фауст.

Я подумал о том, что залогом или общим знаменателем этих сближений является красота. Изумление перед зрелищем совершенства и красоты мироздания, Гармония Мира, как озаглавил свой главный труд Кеплер, — вот что их породило. Однажды мне пришлось в голову написать о красоте художественной прозы. С чем её можно сравнить? Будет непростительным упущением — коль скоро мы вторглись в область полуфилософских, полумифологических материй — не упомянуть красоту женщины.

Совершенная проза, идёт ли речь о платоновой, написанной на исходе IV века «Апологии Сократа», о латинской прозе Золотого века и её учениках, французах века Светочей, о «Герое нашего времени», «Пиковой Даме» или «Египетских ночах», о повестях и рассказах Чехова, о Флобере и Борхесе, — не довольно ли этих примеров? — совершенная проза по праву может быть уподоблена женщине, гармонической завершенности её форм и линий — красоте, которая выдаёт безупречный художественный вкус Творца. Музыка совершенной прозы утоляет горечь жизни, скрашивает одиночество и опровергает роковую безысходность хайдеггеровского бытия-к-смерти.

ГРЁЗЫ РОМАНИСТА

Величие подлинного искусства... состоит в том, чтобы вновь обрести, схватить и донести до нас ту реальность, от которой, хотя мы и живём в ней, мы полностью отторгнуты, реальность, которая ускользает от нас тем неуловимей, чем гуще и непроницаемей её отгораживает усвоенное нами условное знание, подменяющее реальность, так что в конце концов мы умираем, так и не познав правду. А ведь правда эта была не чем иным, как подлинной нашей жизнью. Настоящая жизнь, которую в определённом смысле переживают в любое мгновение все люди, в том числе и художник, жизнь, наконец-то открывшаяся и высветленная, — это литература. Люди её не видят, так как не пытаются направить на неё луч света. В результате вся их прошедшая жизнь остаётся нагромождением бесчисленных негативов, которые пропадают без пользы оттого, что разум людей их не проявил.

Пруст — графу Ж. де Лори

Ты царь, живи один.
Пушкин

1

Романист — не тот, кто пишет романы. Романист — это тот, кто мечтает написать роман. Мысль о романе настаивает как озарение, — соблазн воплотить в слове и заново пережить свою жизнь. Тотчас пробуждается к услугам сочинителя память. Память готова поставить необходимый материал. Подозрительная услужливость: товар как будто под рукой. В действительности материал прожитого и пережитого отнюдь не легко доступен. Залежи прошлого, заброшенные, погребены под спудом. Их надо откапывать. Археологические раскопки памяти — долгий труд. Однажды он завершится открытием. Романист — в этом суть — откопал самого себя. Он открывает в себе центральную фигуру своего будущего произведения.

Археология памяти, как и разбуженная ею палеонтология прошлого, ставит писателя перед очевидным фактом: его жизнь есть не что иное, как черновик литературы.

Так литература становится для него дорогой к осуществлению дельфийского завета γνῶθι σεαυτόν, «познай самого себя». Но условием самосознания — парадокс! — может быть только самоотчуждение. Осознав это, писатель понимает, что цель и смысл его поисков — он сам как полномочный представитель человечества. Лишь в таком универсальном качестве он вправе притязать если не на внимание, то по крайней мере на уважение и сочувствие читателя.

2

Думает ли он о читателях? Не есть ли искусство извечное, глухое противостояние самоуглублённости художника чуждому и враждебному окружению? Занятый поисками себя, романист не спрашивает, кого может заинтересовать его работа. Волей-неволей он внимает критическим голосам. Романист слышит клики о современности. Это эпоха культа Нашего Времени. Подразумевается нечто самодовлеющее, обязывающее писателя принадлежать современному во что бы то ни стало. Пресловутое Наше Время — главное время истории. Таков комический парадокс нашей эпохи: отрекаясь от былой оптимистической веры в прогресс, она сама стоит на коленях перед прогрессом. Ни одно столетие не мчалось вперёд с такой стремительностью, никакой век не пожирал с такой ненасытностью уготованное ему, надвигающееся будущее. Слишком редко современников посещает сознание, что со всем своим великолепием Наше Время, не успеешь оглянуться, превратится в рухлядь, что (если повторить афоризм Петера Вейса) сегодняшний день завтра станет вчерашним. Думает ли романист, что наперекор себе работает, — кто знает? — для будущих поколений? С присущей ему самонадеянностью он отменяет упреки в эгоцентризме.

3

Между тем выясняется, что главное в литературе — не современность, а личность того, кто её, эту литературу, создаёт. Он, а не подставной персонаж беллетристического маскарада, станет,

по определению Ролана Барта, «тем, кто говорит: я». Не успели мы оправиться от шока недавних заявлений о смерти автора, как почивший воскрес. Оказалось, что читать и размышлять о жизни и труде писателя подчас куда увлекательней, чем зевать над сверхактуальными творениями его коллег. На сей раз парадокс состоит в том, что сосредоточенность на обстоятельствах собственной жизни, раздумье, подчас многолетнее, о себе и захваченность собой как предметом литературной работы — всё это как раз и оказывается подлинно современным. Но тут повествовательная проза на наших глазах отступает перед новым соперником. Романист пасует перед диаристом. Таков случай дневников Франца Кафки, Андре Жида, Чезаре Павезе или Жюльена Грина. Таково новое оправдание литературной уединённости, таков чуть ли не шёпотный пафос эгоцентрического, назло всему и всем, писательства в новейшем массовом обществе с его девальвацией человеческой личности.

4

Вознамерившись (тем не менее!) написать о своей эпохе, я чувствую себя как в мышеловке. Трудность, если не заведомая невыполнимость, задачи заставляет меня заключить само это слово «эпоха» в кавычки. Что оно собственно означает? История знает времена, к которым оно неприменимо; слишком уж торжественно оно звучит, чтобы не сказать — претенциозно. Позволю себе процитировать вступление к моему роману «Антивремя» (1982). Этот пассаж показывает, по крайней мере, что отношение к современности, далёкое от восторга, — не новость для того, кто готовится подписать своим именем настоящие заметки.

Конечно, я мог бы сослаться на интерес, который публика проявляет к «той эпохе». Но мне как-то неловко. Какая эпоха? Что за слова! Мы жили в эпоху, которой не было. Мы очутились в расщелине времён. Мы все, всё наше поколение, выпали из истории. Мы были похожи на действующих лиц в фильме, где пропал звук: что-то говорили, махали руками — а никто ничего не слышал. Это первый и последний раз, когда я говорю о поколении; я не принадлежал ни к какому поколению. Нет, лучше уж прямо сознаться, что единственный читатель, к которому я обращаюсь, это я сам.

Итак, чем же всё-таки была, какой *стала* эта эпоха... Традиция предъявляет писателю грозное требование «отразить» своё время, представить доказательство своего законного сыновства, хотя бы он и чувствовал себя его пасынком. Порой (как только что) уступаешь искушению заглянуть в святцы старых текстов. Что найдёт в них, что сможет найти интересного для себя мой дальний потомок в этих пахнущих мышами томах, испещренных вязью умершего языка?

Детство в московском дворе, в коммунальной квартире, во дворе старого московского дома: тридцатые годы, запечатлённые в исландском романе «Нагльфар», конец мёртвого десятилетия, краткосрочное затишье перед воем сирен и скрещением прожекторов в ночном небе — канун Большой войны; детство, ни о чём не подозревающее, не знающее о том, что оно пробилось, как трава, между могилами. Так началась новая полоса. Тогда-то и утвердились оба символа, опознавательные знаки страны: лагерь и парсуна усатого Упыря. Новая полоса в истории Страны, распростёртой на двух континентах, единственной возродившей в XX веке античное рабовладение и средневековое крепостное право.

История складчата, как скатерть. Трупы, трупы, то и дело повторяющиеся складки. Разглаживание скатерти — невидимый, в укор всему, процесс восстановления потерь, казалось бы, невозполнимых: всё ещё не истощившая себя плодovitость народа, распаханые, как врата бессмертия, бёдра деревенских баб. А затем вновь — ибо всё повторяется! — холмы и равнины кладбищ с повалившимися крестами, в сиянии новых лун — забытые вехи роковых тридцатых, сороковых, пятидесятых годов, разрушительная индустриализация, обновлённое всевластие человекоядной тайной полиции, гибель деревни, сеть концлагерей, опутавшая страну, и новые ресурсы человеческого сырья, пополнение, нужное Упырю, чтобы швырнуть очередное поколение в огненную пасть войны. Чудовищная топка, сконструированная и зажжённая ради того, чтобы окончательно добить Россию. И, как кульминация, как апофеоз эпохи — апокалиптический город развалин на западном берегу главной реки, сверху донизу забитый трупами бывших жителей и солдат обеих сражающихся сторон.

Хорхе Луис Борхес цитирует (в одной из бесед) фразу Оскара Уайльда: «Каждое мгновение соединяет в себе то, чем мы были, и то, чем станем; мы — это наше прошлое и будущее одновременно». Продолжая эту близкую мне мысль, я бы сказал, что в мозгу у нас вмонтирована машина времени, которая даёт нам возможность жить в разных временах, перемещаться из настоящего в прошлое и назад, в призрачную область надежд и ожиданий — наше будущее. Эта машина есть не что иное, как безостановочно и своевольно работающая память, и её назначение перенимает литература.

Задаёшь себе вопрос: не такова ли участь персонажей романиста, обречённых, как все мы, жить и умереть, заброшенных в пучину воспоминаний и обманутых мороком несбывшегося будущего. Пытаясь подвести итог долгой жизни — другими словами, обзревая свою литературную работу и в свою очередь погружаясь в прошлое, — я как будто разгуливаю по некрополю моей прозы, между надгробьями действующих лиц.

Азбучная истина: главный ресурс писательства — память. Но память — не то же самое, что воспоминание; роман демонстрирует эту разницу, если не противоположность. Вспоминая какой-нибудь эпизод, мы его беллетризуем. Почти невольно мы упорядочиваем прошлое, мы хотим рассказать (другим или самим себе) «всё по порядку». Эта насильственная процедура, собственно, и превращает память в воспоминание. Между тем изначально память не признаёт никакой последовательности, противостоит математическому времени, игнорирует хронологию, а вместе с ней и логическую последовательность. Не останавливает часы, а разбивает их.

Освобождение от вериг времени происходит перед отходом ко сну, когда в вечерней тиши, в зеленоватом свете ночника, угревшись в постели, мы остаёмся один на один со своим внутренним миром: хотим подумать о жизни, о делах и заботах только что прожитого дня, но тотчас память, выпущенная на свободу, затевает свою игру: цепляется за что попало, за случайные эпизоды близкого и далёкого прошлого. Всплывают полузабытые лица, юность, детство — всё сразу. Словесные или образные ассоциации — единственное, что правит хаосом памяти, поддерживает кое-как её цельность.

Ты думаешь о яблоках, которые забыл купить, к этой мысли прицепляется образ коня в яблоках, конь тащит за собой легендарного героя Чапаева с саблей, на картине в школьном коридоре, слышен шум, ребята вываливаются из класса, что-то глядит на тебя из окон, являются странные привязки, необъяснимые сближения — спохватываешься: о чем же я думал? — мысли приняли неуправляемый, абсурдный оборот — по-видимому, я на грани засыпания — пробую прокрутить плёнку назад, разматываю клубок. Оказывается, это цепь прихотливых сближений, исчез тот самый порядок, подобный порядку романного повествования, где одно вытекает из другого. Способна ли проза передать этот хаос, не беллетризуя изначальную стихийность памяти?

Для литературы воспоминание — одновременно инструмент и материал. Вспоминая, литература денатурирует память, как кислота — белок: из аморфной, колышущейся, ускользающей массы получается твёрдое тело. Нечто непередаваемое преобразовано в текст, изделие языка. Не будь этой химии, мы получили бы словесный детрит, нечто такое, что происходит у больных с распавшейся психикой. Но, быть может, здесь скрывается обещание приблизиться к последней реальности души; соблазн изначального, подлинного манит писателя.

Приблизиться к краю бездны. Так в детстве, лазая по крыше московского дома у Красных Ворот, мы подходили к кромке брдамауэра и с замиранием сердца заглядывали вниз.

Великое слово «спонтанность» грозит опрокинуть всё здание мира. Или, что то же, храмину литературы. Революционная проза XX века не случайно стала ровесницей квантовой механики, радикально меняющей, отменяющей привычные представления об однонаправленном линейном времени, о причинно-следственном детерминизме. Как физическая теория, чтобы стать верной, должна быть безумной, литература должна быть безумной, чтобы стать правдивой.

Память возвращает нас в мир, где ещё не побывал Кант. Память игнорирует ту упорядоченность, которую интеллект привносит в окружающий мир непроницаемых вещей в себе. А ты, писатель, намерен реконструировать именно то состояние, когда хомут ещё не успели напялить на кобылу. Конечно, это утопия: такая проза невозможна, чему свидетельство — тупик, в который упёрся Джойс со своей разбитной бабёнкой Мэрион Блум, с её великолеп-

ным «потоком сознания». Но попробовать надо — приходится пробовать. Не подражая кому бы то ни было, но пользуясь только собственным, неповторимым опытом. Познай самого себя!

Память, шаровая молния, влетевшая в ночное окно. Память, которая прихотливо носится от прошлого к настоящему, и снова назад, цепляется, как репей, за что попало, меняет места и времена — у неё нет времени задерживаться на чём-нибудь одном, для неё нет важного и неважного; споткнувшись о случайное словцо, уловив мелодию, цвет, учуяв запах, она перескакивает, как летучий огонь, от одного к другому, порхает туда и сюда, обнюхивает, как собака, давно не существующих людей, предметы, закоулки.

И, как многие до меня, я мечтаю о раскрепощённой прозе. Мне грезится повесть, в которой отменены все правила повествования; вместо этого — каприз случайных сцеплений, встречных образов, непредсказуемых поворотов. Так гребец оставляет вёсла, ложится на дно лодки и чувствует, как течение вращает и уносит его на своей спине.

Довольно притворяться. Порой испытываешь чувство усталости от прозы в корсете с перетянутой талией, с претензией навязать действительности некую онтологическую благопристойность. Увы, своеволие заряжено анархией, уж мы-то это знаем. Не ты ли, художник, твердил, что достоинство литературы — в сопротивлении хаосу? Вернуться к истоку — не значит ли убить литературу? А между тем какой соблазн бросить вёсла. Как тянет испытать сладкое головокружение, заглянув в пропасть. Накалённые солнцем крыши нашего детства: карабкаешься вверх по железной лестнице, бежишь по громыхающей кровле, добираешься до брандмауэра и, подойдя к самому краю, боком, искоса заглядываешь вниз. И, как во сне, видишь себя самого, распластанного на асфальте, там, на дне двора.

КАТАСТРОФА

Было тихо. Я лежал под одеялом и грезил. Обычно сны происходят в безмолвии, подобно немому кинематографу. Донёсся слабый гул. Гул перешёл в треск, я выбежал, больная машина сотрясаясь как в лихорадке. Надо было не мешкая выключить ток, я этого не сделал. Наконец, раздался взрыв. Глазам предстало страшное зрелище: на столе валялись обломки компьютера. Буквы и отдельные фразы плавали в воздухе, целые абзацы шлёпались на пол. Труды многих лет пошли прахом. Так завершилось позорным крушением моё писательство.

ШАГИ СЛЕПОГО В ТЕМНОТЕ

...Я уже назвал себя: меня именуют Борис Хазанов. Псевдоним этот подарил мне редактор подпольного машинописного журнала «Евреи в СССР», предполагалось, что тайная полиция не станет разыскивать неизвестного мне инженера Б.Хазанова, который эмигрировал в Соединённые Штаты и к диссидентскому движению никакого отношения не имел. Конспирация не помогла, псевдоним был довольно скоро разоблачён. С тех пор он украшает все мои произведения.

*

Читая очерк Марка Харитонова о замечательном долгое время остававшемся незамеченным скульпторе, художнике и поэте Вадиме Сидуре (1924—1986), я остановился на высказывании покойного мастера, питавшего отвращение ко всякой публичности:

«Для меня творчество — акт сугубо индивидуальный. Художник должен быть одинок...»

Мысль эта мне близка. Таково и моё самочувствие. Приведу запись в моих давних заметках «Литературный музей»:

«Чувствуешь себя вроде барышни, которая долго готовилась к танцевальному вечеру, раздумывала над каждой подробностью своего наряда, и вот она стоит у стены среди музыки и света, и никто к ней не подходит. Моя проза — это *poste restante*, письма до востребования, за которыми никто не пришёл».

*

Шесть лет, с 55-го по 61-й, прошли после освобождения из лагеря, я успел окончить медицинский институт, заведовал сельской участковой больницей чеховских времён, в Калининской области. Как-то раз мне попала на глаза «Литературная Газета», коррес-

пондент беседовал с одним из входивших тогда в моду земляных писателей. Известный прозаик, ценивший своё исконно-народное происхождение, рассказывал: «Этим летом я побывал на моей родной Вологодчине, где мне всегда хорошо работается».

Хорошо работается... Человек с психологией бывшего заключённого, читая это, мог только рассмеяться. Ничего себе работка, небось не мешки таскать. А между тем я сам приохотился к подобному времяпровождению, вечерами втихомолку что-то пописывал. Мне было стыдно признаться, что я занимаюсь таким немужским делом, как сочинительство. Свои опыты я никому не показывал. Не говоря уже о том, чтобы пытаться что-нибудь опубликовать. Невозможно было вообразить себя в сонме настоящих писателей. Кем они, собственно, были? Не имея представления о процессе продвижения и перемалывания авторских текстов в машине советской художественной словесности, я всё же понимал, что представляет собой эта литература. Соваться туда со своими изделиями было не только бесполезно, но и небезопасно. Печальная участь Василия Гросмана с его романом уже не была тайной. Стало известно, что роман арестован и бесследно исчез.

Тут, возможно, стоило бы упомянуть о забавном совпадении. В 1981 году, когда протекло немало воды, с тех пор как я пробовал свои силы в благословенной деревенской глуши, в Москве, при обыске у меня отняли мой первый роман, после чего я получил из прокуратуры — филиала КГБ — уведомление о том, что роман признан антисоветским и арестован. Двойная ирония судьбы: в юности я и сам был арестован. Но времена изменились, гадюка успела потерять зубы. Скоро, впрочем, вставила.

Впоследствии я восстановил по памяти своё погибшее детище. В эмиграции, в начале 80-х, я опубликовал этот роман под названием «Антивремя» (нем. «Gegenzeit») и послал экземпляр с дарственной надписью начальнику отдела Московской прокуратуры некоему Ю.Смирнову, руководившему операцией по изъятию рукописи. Надеюсь, он был тронут.

*

Заразившись в ранней юности литературной болезнью, я не мог от неё исцелиться и в «старости». Я писал в глухой изоляции, полагая безвестность и одиночество своим естественным состоянием. Так я стал подпольным писателем.

Иначе и быть не могло. Мы все были гражданами засекреченного государства. На эту секретность можно было ответить только анонимностью. Среди первых моих сочинений, написанных в Москве, позднее циркулировавших в Самиздате (о коем речь ниже) и в конце концов всё-таки опубликованных в Израиле, находилась повесть или маленький роман «Час короля». Не назвавший себя «сотрудник» в штатском, без погон, допрашивал автора в доме на Кузнецком мосту, 19, в комнатке с зарешечённым окном, добиваясь признания, что я — автор этого антисоветского сочинения. Почему антисоветского? Мы понимаем, возразил он, о какой стране здесь идёт речь. Справедливое суждение. Повесть описывала тоталитарное государство с его всеобъемлющей маниакальной засекреченностью, весьма похожее на наше отечество. Предметом дознания была ещё одна улика — найденная у меня книжка небольшого формата, под титлом «Запах звёзд», изданная без моего ведома в Тель-Авиве на средства какого-то мецената, сборник прозы, куда вошёл, вместе с одноимённой повестью, и упомянутый «Час». Таким образом, я обрёл, в лице воинов славного ведомства, первых читателей. Мне не приходило в голову, что я вступаю на путь, который приведёт меня к изгнанию.

*

Публичность, пусть весьма относительная, развратила меня; писательская девственность была утрачена. Недавно в одну из ночей я увидел умершую Лору. Показываю ей свою книгу, только что вышедшее собрание сочинений. Она спросила меня: «Зачем это?» Отвечаю: «Чтобы они знали, что я жив».

Моя жена не поинтересовалась, кто эти *они*. В сущности, это был вечный вопрос о читателях. Кому нужны твои произведения? Кто их станет читать? Я и теперь не в состоянии ответить на эти вопросы

Кто из пишущих не жаждет увидеть себя напечатанным... При том, что «напечатанное» отнюдь не значит «прочитанное». И, однако, желание публиковаться может быть столь же велико, как и нежелание публиковаться. Быть может, время первых шагов, неуклюжих проб было счастливой порой моей литературной биографии. Ей-богу, я не был тщеславен и не искал аплодисментов. Писал то, что хотел написать, надеялся выполнить задачу, которую ставил перед собой, только и всего. Я был свободен. Для

меня не существовало официальной литературы с её Союзом писателей, издателями, редакторами и недреманным оком цензуры, за которым в свою очередь следило другое, ещё более зоркое Око. Моим писаниям, независимо от их качества, был а priori закрыт доступ в эту литературу. Это было предопределено и тематикой, и стилем, и общим духом моей прозы

Но явилось нечто неслыханное. На глазах целого поколения возродился Феникс независимой словесности.

Самиздат был альтернативой реакционной, эстетически убогой, скованной по рукам и ногам советской литературе; можно сказать, что он стал её гробокопателем. Сколько благополучных писателей спрашивали себя: не плюнуть ли на всё и выпустить мой невозможный, непроходной роман на волю? Самиздат был великим соблазном, он был опасной игрой, и те, кто уступил этому искушению, рисковали многим. Взамен он обещал новое вдохновение. Самиздат был жестом отчаяния и протеста, праздником свободымыслия и веселья. С высоты лет хорошо видны его слабости и неудачи. Но тот, кто его пережил, кто присоединился к его зачинателям и участникам, его не забудет, как не забывается литературная молодость.

КУХНЯ ЧАРОДЕЯ

Ответ на запрос Майнцкого университета

Вы разрешили мне писать по-русски. Как я работаю?

Прежде я писал пером, сперва без всякого плана, затем перепечатывал на машинке. Мне казалось, что таким способом я отстраняюсь от рукописного, слишком связанного с личностью автора текста и даже с его телесностью: машинопись нейтрализовала написанное, давала возможность увидеть текст со стороны как бы чужими глазами. С появлением компьютера технология изменилась, я стал сразу делать наброски на компьютере. Но и теперь, принимаясь за что-либо новое, иногда пишу пером. Писание от руки расковывает. В любом случае, однако, я не сторонник спонтанного сочинительства, писания наугад, хоть и пытался когда-то в юности использовать этот метод, считал его своим открытием, не зная о том, что автоматическое письмо давно изобретено сюрреалистами.

Произведение может зародиться внезапно, без всякого повода, при слушании музыки (которая вообще мне очень помогает в моей работе), при чтении чего-нибудь постороннего. О некоторых своих романах и рассказах я могу точно сказать, что́ было первой искрой. Замысел начинает клубиться в мозгу и подчас выглядит куда увлекательней, заманчивей, чем когда принимаешься, наконец, за дело. Всё что при этом получается, оборачивается тяжёлой неудачей и скукой. Прекрасно сказано Вальтером Беньямином: *Das Werk ist die Totenmaske der Konzeption* (Произведение — это посмертная маска замысла).

Скуку нужно развевать. Как уже говорилось, я пользуюсь преимущественно компьютером. Печатаю написанные страницы, чтобы потом к ним вернуться. В былые времена я мог заниматься сочинительством в любой обстановке. Теперь не то. У меня нет своего кабинета, но мне нужна тишина. Больше всего меня раздражает пошлая музыка. Я пишу утром — чем раньше начнёшь, тем вернее — и до обеда, лучше всего в дождливую погоду, в снегопад. Во второй половине дня пишу письма, статьи, что-нибудь более лёг-

кое. Вечером настроение портится, всё, чем я занимался, выглядит ненужным, неудачным, бездарным; единственная надежда — утром, может быть, удастся обрести бодрость.

Я не составляю планов, набрасываю лишь, чтобы не забыть, отдельные мысли или сюжетные направления. Я замечал, что легче начинать и продолжать, когда видишь конечный пункт пути, то есть приблизительно знаешь, чем всё кончится. С годами я стал уделять больше внимания сюжету, «истории» в собственном смысле. Проза — это рассказывание историй. Но теперь мне всё чаще приходится начинать что-нибудь, не имея абсолютно никакого представления, куда всё приведёт и чем кончится.

Я придаю очень большое значение языку, ритму и звучанию фразы, помногу раз переделываю свои пассажи и особенно зачины, — и никогда не забываю совет Флобера читать свою прозу вслух (я читаю её шопотом). Я стараюсь находить не только слова с абсолютно точным, нужным мне значением, но и с необходимым числом слогов, с нужным ударением. Больше всего в произведениях современных писателей угнетает меня болтливость, многословие, наследственный недуг русской литературы. Но писать лаконично, как написаны «Повести Белкина», так же трудно, как вести добродетельную жизнь.

В моём писательстве очень большую роль играет музыка. Музыка гармонического трезвучия присутствует в литературе, следит за ней, как дуэнья за своевольной сеньоритой. Вечным образцом для меня, думаю, останутся первые периоды «Истории» Тацита.

Любое сочинение, самое безумное, должно быть оснащено убедительными реалиями. Нужно уметь пускать пыль в глаза. У читателя не должно быть никаких сомнений относительно компетентности автора в той области жизни, культуры, профессиональных занятий и т.п., с которой имеют дело его герои. Это тоже один из уроков, преподанных классиками. Один старый бильярдист говорил мне: когда читаешь «Записки маркёра», то кажется, что Толстой всю свою жизнь только и делал, что играл на бильярде.

Я постоянно пользуюсь справочной литературой, выискиваю нужную терминологию, разглядываю географические карты и планы городов. Для романа «Антивремя» я изучал астрологию, для «Нагльфара» — каббалу. И, конечно, приходится то и дело загля-

дывать в толковый словарь русского языка, словарь синонимов и проч. Художественные (или претендующие на художественность) произведения я пишу только по-русски.

Самое тяжкое и неприятное — написать «рыбу», то есть набросать первоначальный, сколько-нибудь связный текст. Всё равно, что прокладывать лыжню по глубокому снегу. Этот пробный текст ужасен, неопрятен, нелеп. Но над ним можно работать, от него можно отталкиваться, след проложен — это уже легче. Я сочиняю такие наброски на отдельных листках до тех пор, пока не накопится сколько-то страниц и почувствуешь, что выдохся — дальше двигаться нет сил. Тогда я возвращаюсь к началу, чтобы взять разбег.

Трудно сдвинуться с места, столкнуть воз. Хемингуэй дал хороший совет: не вычерпывать воду из колодца до дна, заканчивать работу сегодня на том месте, где нетрудно будет продолжать завтра. Съезжать с горки, а не брать подъём. И так продолжается до тех пор, пока не наступит желанный перелом — пока в воображении не возникнет некое целостное представление о времени и месте действия — мир романа.

Жан-Луи Барро писал о том, как рождается спектакль. Словно готовят майонез, — взбивают, взбивают, ничего не получается — и вдруг наступает момент, когда составные части больше не расслаиваются. Майонез готов.

Нечего и говорить о том, что мир романа отнюдь не копирует действительность. Но никто нам не запрещает совершать плагиат у действительности. Пишешь или, по крайней мере, начинаешь писать о чём-то тебе знакомом — хорошо знакомом. (Позже, почувствовав себя уверенней, можно будет с помощью фантазии, а также минимума эрудиции, разрешить себе вторгнуться в незнакомые области). Опираешься на жизненный опыт, вспоминаешь живых людей, видишь обстановку, чувствуешь запахи. Короче говоря, помнишь прошлое до мельчайших подробностей. Так помню я своё детство. Но восстановление неотделимо от химического процесса, пышно именуемого творчеством, и этот процесс денатурирует былую действительность, как кислота денатурирует белок. И вот, по мере продвижения вперёд, возникает удивительное чувство, что действительность — это фантом. Начинаешь поддаваться чему-то вроде самогипноза. Подлинной реальностью становится мир романа. Теперь ты можешь его обживать. Необязательно всё описывать, важно всё хорошо себе представлять. Вовсе не надо всё объяснять.

Обойтись минимумом самых необходимых и ненавязчивых пояснений. (Для этого можно, например, как в пьесах, использовать диалог.) Нужно пропускать промежуточные звенья. У читателя должно возникнуть ощущение, что ты гораздо больше знаешь о людях и эпохе, чем сообщаешь. Читатель должен сам о многом догадываться. Нужно оставить ему простор для собственного домысливания, для фантазии.

Мало-помалу действующие лица приобретают известную автономность, если не просто свободу действий. Во всяком случае, приходится считаться с их манерой вести себя, с их повадками и капризами. Шахматист ведёт игру, переставляет фигуры, но фигуры на доске ведут себя по собственным правилам. Писатель распоряжается своей прозой, а проза распоряжается писателем.

*С лучшими пожеланиями,
Ваш Борис Хазанов.*

ТРЕВОГА И ТРУД

Пусть в горнем Олимпе блаженствуют боги:
Бессмертье их чуждо труда и тревоги;
Тревога и труд лишь для смертных сердец...
Для них нет победы, для них есть конец.

Тютчев

МОСКОВСКИЕ ДРЕВНОСТИ

...Таковы, например, евреи. Они теперь остаются носителями Антихриста и, уж конечно, восторжествуют: они ломаются, они идут; всё враждебное человечеству — за них, как же им не восторжествовать на гибель миру!

Достоевский — Юлии Абаза (1880)

Москва! как много в этом звуке...

Пушкин

...В те годы великий город, пятно неправильной формы, вбирающее в себя тысячевёрстные магистрали далёких окраин, стояло на карте моей души, и до сих пор в памяти живут времена, когда казалось мне, нигде больше нельзя жить на свете, кроме Москвы.

Но всё трудней с каждым годом становилось передвигаться по городу. Сергей Миронов, профессиональный шофёр, в своё время водивший тяжёлые многоколёсные фургоны в Финляндию, не переставал удивляться беззаконному уличному движению в столице. Опрокинутые колёсами вверх машины с разбитыми фарами, со смятым радиатором, похоже, стали рутиной. Чуть ли не каждый третий автомобилист, оказавшись он за границей, тотчас лишился бы водительских прав. А что поделаешь? Таков был этот город. Часами сидели мы в пробках, поглядывали на вереницы машин, запрудивших тротуары, на испуганных прохожих, прижавшихся к стенам домов, на несущиеся, изрыгая газ и смерть, по центральной полосе, а то и навстречу движению, импортные лимузины новых хозяев жизни, слышали хор несмолкающих гудков, искали глазами несчастную, намертво застрявшую в безбрежной лавине Скорую помощь. Сколько же времени, думал я, остаётся этому Вавилону до Судного дня, когда наступит коллапс. Но коллапс, подобно концу света, постоянно откладывается.

Любопытное совпадение с «Московским дневником» 1929–30 г. Вальтера Беньямина:

«Люди ходят по улице, лавируя. Это естественное следствие перенаселенности узких тротуаров. Эти тротуары придают Моск-

ве нечто от провинциального города или, вернее, характер импровизированной метрополии, роль которой не нее свалилась совершенно внезапно. Ничто не происходит так, как было назначено и как того ожидают, — это банальное выражение сложности жизни с такой неотвратимостью и так мощно подтверждается здесь на каждом шагу, что русский фатализм очень скоро становится понятным...»

И всё же я отваживался показывать город друзьям, водил, уступая просьбам, Сергея и его красивую жену — в только что воздвигнутый соборный храм Христа Спасителя на Волхонке — грандиозный шедевр державно-православного кича, — толковал иконы и фрески. Должно быть, это было комическое зрелище: еврейский гид просвещает в соборе невежественных христиан. Удавалось приглашать закордонных гостей, и я сопровождал чету Графенхорстов в древнерусские чертоги Третьяковки, где, к счастью, ничего не изменилось.

Моим немцам я показывал смолистые кудри Димитрия Солунского, крутолобого угодника Николая Мирликийского, хуленькую, похожую на подростка Параскеву Пятницу, Нерукотворного Спаса, Устюжское Благовещенье, некогда спасённое от метеоритного камнепада, братьев-мучеников Бориса и Глеба в круглых княжеских шапках, со скорбными кофейными лицами, — с флажками на копьях, бок о бок верхом на танцующих тонкошеих конях. Так брели мы из одного зала в другой, откуда не явились навстречу нам, как их видел в XV столетии инок Андроникова монастыря Андрей Рублёв, те Трое, о которых я, как Блок о «Макбете», не могу говорить без волнения. В полуденный палестинский зной пришли полуюноши, полудевушки к пожилым супругам Аврааму и Сарре. Таинственных гостей усадили в тени под деревом. И вот они сидят, склонив друг к другу пышные причёски, ведут друг с другом безмолвную беседу, излучают гармонию, покой и волю, каких не бывало, не будет в нашей горемычной стране.

Последний день моего паломничества наступил; чуть было не забыл я упомянуть о том, что оказался в Москве благодаря счастливой случайности — удостоившись литературной премии. Церемония вручения награды была закончена. Обратный путь по Каширскому шоссе в аэропорт вместе с моим братом Толей, ныне покойным, проделали в такси, шофёр оказался приветливым интелли-

гентным человеком. Разговор шёл о том, о сём. Водитель отрекомендовался верующим православным христианином. Толковали об иконописи, о библейских сюжетах. Мой любознательный брат спросил: «А как вы относитесь к евреям?» На что собеседник ответил, что евреи очень способный народ, но их, прибавил он, надо ограничивать. Мне вспомнились времена моей ушедшей жизни на родине, и было нетрудно понять, что означали эти слова. Ничего, стало быть, не изменилось.

Водитель остановил машину перед входом в аэровокзал. Мы дружески попрощались.

О ДНЕВНИКЕ

Идея вести собственный дневник осенила после чтения необыкновенно увлѣкших меня, оснащённых выдержками из юношеского дневника Воспоминаний Вересаева. Мне было 15 лет. Шла война, жили в посёлке районной больницы, в бараке для персонала, я ходил в школу русско-татарского села Красный Бор на Каме — два километра зимой по снежной дороге, осенью в разливах грязи, слева холмы, поросшие лесом, справа могучая река.

Поздними вечерами, когда моя мачеха дежурила в больнице, а маленький сводный брат уже спал, я сидел перед коптилкой, читал и писал; увлечения мои сменяли друг друга, менялись и жанры; с некоторых пор стали главными литературные: письма к многоюродному дяде, студенту энергетического института из эвакуации на Урале — и дневник. Осенью 44-го мы вернулись в Москву.

В июле 49 года был арестован Сёма Виленский, к этому времени я был студентом последнего курса филологического факультета, классического отделения. Я уничтожил последнюю, теперь уже написанную в Москве, дневниковую тетрадку, где чёрным по белому стояло, что в нашей стране фашизм и прочее в этом роде. Но прошло несколько месяцев, судьба Сёмы, исчезнувшего бесследно, осталась неизвестной, никто за нами, мной и моим другом Яшей, не пришёл. Наконец, в ночь на 26 октября 1949 г. крысы в фуражках с голубым околышем вторглись в квартиру моих родителей. Меня увезли на Лубянку, дома в моё отсутствие был произведён обыск. Грабители унесли все мои бумаги, в том числе письма к дяде и дневник, об исчезновении которого я не перестаю — через столько лет — жалеть.

ИСТОРИЯ ПСЕВДОНИМА

На главной странице нелегального машинописного журнала (позднее — сборника) «Евреи в СССР», изготавливаемого в количестве десяти-пятнадцати экземпляров, один из его основателей и редактор, физик Александр Воронель предупреждал будущих авторов и читателей (включая тайную полицию), что анонимных и псевдонимных материалов журнал не публикует. Дело происходило, если не ошибаюсь, во второй половине 70-х, к этому времени я был давно уже освобождён из лагеря и около двух десятилетий обретался на воле.

Вопреки объявлению, означавшему намерение вести себя хорошо, редактор согласился поместить в самиздатском журнале мою статью «Новая Россия», но счёл её слишком рискованной и присвоил автору псевдоним, который должен был звучать, в согласии с программой и наименованием всего предприятия, и по-еврейски, и по-русски. Так появился на свет Борис Хазанов. Реальный носитель этого имени, инженер, неведомый мне и никакого отношения к диссидентскому движению не имевший, уже несколько лет находился в Америке; предполагалось, что КГБ до него не дотянется. (Мир тесен, и много позже оказалось, что Б. Хазанов был родственником моей первой французской переводчицы, парижанки Элены Роллан.)

Конспирация не помогла, довольно скоро псевдоним был разоблачён. С тех пор он приклеился ко мне и украшает все мои сочинения, но литература моя стала решающим обстоятельством, побудившим в конце концов и меня покинуть отечество.

ОБ ОДНОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ГЕРОЕ

1

Оставляя в стороне дискуссионный вопрос о действительной или мнимой автобиографичности произведений писателя Бориса Хазанова, послуживших материалом для настоящего исследования, мы хотели бы привлечь внимание учёных коллег к особому социально-психологическому типу, который фигурирует в повестях и рассказах автора в роли главного героя либо фиктивного героя-рассказчика. Назовём его *несостоявшимся любовником*. Полагаем, что этот тип может представить интерес для специалистов в области, с недавних пор называемой микросоциологией, иначе социологией личности — парадоксального термина. С литературоведческой точки зрения в этом персонаже можно узнать — разумеется, с известными ограничениями — потомка «лишних людей» русского XIX века, правнука Рудина. Вместе с тем есть основания считать его типичным для эпохи, которая служит Б. Хазанову квазиисторической кулисой, — относительно короткого времени позднего сталинизма, преимущественно военных и послевоенных десятилетий. Скупая намеченная биография героя, предварённая воспоминаниями детства, как правило, охватывает немецкое вторжение, эвакуацию подростка в отдалённый район страны и начинающийся пубертат, наконец, прекращение великой войны, и последующие *Lehrjahre*, — вчерашний школьник становится студентом.

2

Здесь прежде всего нужно указать на главную и необходимую для формирования указанного социопсихологического типа черту времени — тотальную несвободу личности в государстве, гордом одержанной победой. Оба аспекта этой двуликой несвободы — политическое бесправие и репрессивная полицейская мораль. Общим знаменателем и своего рода психологической легитимацией

обеих форм закабаления является страх. Позволим себе, не прибегая к обычной объяснительной аргументации — будь то фрейдизм или общепринятые теории фашистского и коммунистического тоталитаризма, — воспользоваться метафорой поля, аналогичного электромагнитному или гравитационному полям в физике.

Всенародное обожание Великого Вождя, напоминающее языческие культы первобытных племён, как и страх репрессий, наступающих каждого, кто посмел бы посягнуть на священный Портрет, центральный антропоморфный тотем, создают высоковольтное психофизическое поле, в котором вегетируют общество в целом и каждый его член. Здесь, в этом поле несвободы, растёт новое поколение, дети рабов, сюда заброшен и постепенно привыкает, уподобляясь глубоководным рыбам, не замечающим чудовищное давление толщи океанских вод, молодой человек — излюбленный персонаж прозы Б. Хазанова.

Вождь, чью мифологическую таинственность надёжно укрывают неприступные башни и зубчатые стены пятисотлетней крепости, правитель, наделённый сверхчеловеческими свойствами всемогущества и всеведения, излучает страх, неотличимый от любви, и любовь, порождающую экзистенциальный страх.

Этому страху, в котором нетрудно распознать сексуальную составляющую (массовая эротика — феномен, требующий специального изучения, см. соответствующую литературу), на уровне личности противостоит, чтобы не сказать: конкурирует с ним, второе, не менее напряжённое эротическое поле, окружающее литературного героя — поле, которое излучает девушка. Постепенно из платоновской идеи объект ещё не осознанного вождения вырисовывается и принимает конкретный облик юной обожаемой женщины.

Важно отметить, возвращаясь к писателю, о котором идёт речь, что он отказывается в своих произведениях от завещанного классиками психологизма. Психология в описании действующих лиц оттеснена системой символических жестов. Перед нами (в чём мы сейчас убедимся) печальное зрелище безнадежно ритуализованной, задохнувшейся эротики.

3

В 1799 году 27-летний Фридрих Шлегель, влюблённый в свободную от предрассудков Доротею Файт, позже ставшую его женой,

опубликовал в Берлине в высшей степени безнравственный роман «Люцинда». Критику возмутил скандальный эпизод. Герой романа Юлиус намерен овладеть возлюбленной — наивной и беспорочной девушкой. В решающий момент, когда он почти достиг своей цели, его останавливает боязнь оскорбить её целомудрие. Но оказывается, что девушка, ожидавшая иного, в свою очередь оскорблена его нерешительностью и в отчаянии рыдает. Всё это подозрительно напоминает ситуацию неосуществившейся любви героя прозы Б. Хазанова. Правда, этот горе-герой не настолько самонадеян, чтобы вознамериться предпринять прямую атаку

Вначале, убедив себя, что влюблён, он принимает головокружительно смелое решение — признаться избраннице в своих чувствах. Однако не смеет сказать об этом вслух и одной бессонной ночью сочиняет восторженное письмо. Происходит встреча; дошла ли почтовая исповедь до адресата, неизвестно. Оба стыдливо помалкивают о случившемся, но цель достигнута: теперь она *знает*. Можно предположить, что письмо взволновало девушку, не привыкшую к подобным излияниям. Язык половой любви табуирован в пуританском обществе, где вся сфера эротики находится под запретом. Герой и его возлюбленная задыхаются в безвоздушном пространстве постыдной и противозаконной тайны. Юная, видимым образом созревшая для любви женщина абсолютно недоступна. Презумпция невинности, навязанная традиционным воспитанием и социалистическим ханжеством, закрепощает её совершенно так же, как крепостная стена и вооружённая стража обороняют объятого страхом диктатора. Круг замкнулся: страх остаётся неизменной движущей силой поведения любовной пары, страх разоблачения, страх девственницы перед вторжением, страх молодого человека перед женской телесностью, перед коитусом.

4

Увы! Она ждала: молчание должно было чем-то разрешиться. За письмом последуют «дела». В конце концов, традиция предписывает инициативу мужчине. Ожидается, что поклонник, не дай Бог, покажет себя агрессором — что тогда?.. Допустим, её попробуют обнять; ответит ли она на поцелуй? Но ничего не происходит. Остаётся ритуал ухаживания: её провожают домой, не осмеливаясь

взять её хотя бы под руку. Они идут рядом, разговор касается нейтральных тем, в крайнем случае сводится к полунамёкам. Инициативу гасит обоюдная неловкость.

Под конец барышня протягивает обескураженному кавалеру узкую, согретую теплом женственности ладошку. Дружеское рукопожатие, символический суррогат прощального поцелуя.

Несчастье в том, что обожание наскучило. Сюжетная немощь и разочарование, в свою очередь, настигают и читателя.

ДЕТСТВО ТРИДЦАТЫХ

Мальчик по фамилии Казаков, по прозвищу Казак, историческая личность (я бы назвал его: несовершеннолетний Ставрогин), излучал демоническое очарование, покорял самоуверенностью, таинственностью, инстинктом владычества. Одним своим появлением он вселял в душу суеверный страх и ожидание опасности. Кто он был такой? Казак проживал в нашем переулке, но где, в каком доме, никто не знал, он заходил к нам во двор неизвестно зачем, но мы-то знали — чтобы испытать свою власть, покуражиться, поиздеваться над нами. Как и нам, ему было 10–11 лет, что-то было в его лице, в хищном взгляде — он искал жертву; пожалуй, он был красив, но какой-то подлой, отталкивающей красотой; не столько силен физически, сколько ловок и отважен; демонстрировал презрение к опасности, ко всем нам и нашей трусости, по-обезьяньи взбирался вверх по пожарной лестнице, — в этом ещё не было ничего особенного, мы все это умели; но, перехватив цепкими худыми руками железную перекладину, соединявшую лестницу со стеной дома на уровне высокого второго этажа, он передвигался по ней, перебирая ладонями, не ведая страха, легко подтягивался, как на турнике, извивался и болтал ногами в пустоте, возвращался к лестнице, спускался вниз ко всеобщему облегчению и прыгивал с победительным видом. Благодаря такому упражнению авторитет Казака возрастал неимоверно. Но этого было мало. Он мог, изловчившись, схватить свою жертву за нос и потащить за собой, уверенный, что не встретит сопротивления, неожиданно мог сбить с ног, подставив ножку, в суверенном сознании своего превосходства, наградить тебя постыдным прозвищем. После чего вдруг исчезал.

Мир отрочества, словно кривое зеркало в Аллее смеха в Парке культуры и отдыха, отражал мир взрослых. Догадывались ли мы, что наше едва проклюнувшееся будущее должно было совпасть с эпохой, чьим лозунгом было насилие, опознавательным знаком — садизм? Мы знать не знали о том, что уже стало известно взрослым, о заговоре молчания, тайне, глухой и зловещей, о которой

они не смели проронить ни слова: о том, что судьбу всех и каждого в нашей самой счастливой стране решало глубоко засекреченное, разветвлённое учреждение, специально пополнявшее свои ряды садистами. Я сказал: историческая личность. Вестник будущего — вот кем он был. Так что, пожалуй, и наш друг и однокашник Юрка Казак, доживи мы все до взрослых лет, стал бы «сотрудником» в долгополой шинели, в фуражке с голубым околышем, со звёздочками на нововведённых погонах. Он был как будто создан для этого будущего. Я говорю: вдруг в самом деле, Казак питал к нам особую привязанность, нуждался в нас, как проголодавшийся хищник нуждается в добыче.

Будущее растило для себя кровавую пищу. Оно готовилось для того, что произойдёт, и уже намечало себе задачу и высшую цель. Поколение мальчиков, следующее после нас, подрастало для того, чтобы погибнуть на войне. Ожидание большой войны насытило воздух эпохи. Шли тридцатые годы. Какофония века уже звучала, неслышная для нас. Уже были написаны варварски-радостные, дышащие фашистским оптимизмом *Carmina burana* Карла Орфа, уже громыхали, отбивая шаг коваными солдатскими башмаками-калигами по Аппиевой дороге под зовы римских военных букцин, победоносные легионы Цезаря в заключительных тактах симфонической поэмы «Пинии Рима» Отторино Респиги, написана Первая, посвящённая Октябрю, симфония юного Дмитрия Шостаковича.

Мы не чуяли трупного запаха. Не догадывались, что растём на необозримых кладбищах Гражданской войны и гигантской истребительной кампании — коллективизации сельского хозяйства. Насилие и садизм стали опознавательным знаком эпохи, подобно тому, как они правили бал в переулках нашего детства. Ходить одному здесь было опасно. Здесь бушевала фашистская революция подростков: весь район кишел малолетними палачами-истязателями, вечно чего-то ищущими, похожими на грызунов, озабоченно сопящими от непросыхающего насморка, харкающими вокруг себя комками слизи.

Школа 30-х годов была кошмаром. В каждом классе сидели на задних партах, свистели и визжали, изрыгали грязную брань, целились из рогаток и отплёвывались дети-бандиты, вечные второгодники, которых сплавляли, спасаясь от них, из школы в другую школу, а оттуда ещё куда-нибудь по соседству. Грозой терроризированных педагогов был дракон по имени Семёнов, омерзительная лич-

ность, отпрыск криминальных родителей, с жёлтыми глазами, как у дикой кошки, с хлюпающим носом и мокрыми губами; но и он был не один, у него была своя клиентела — подражатели и подчинённые; вся эта нечисть сбивалась в стаи, однажды вышибли из рук портфель, когда я поднимался по лестнице, — был такой случай, — я наклонился поднять и получил удар носком ботинка в лицо, кости носа были сломаны, и кровь ручьём лила на ступеньки, кто-то отвёл меня домой, на другой день я предстал перед врачом, который вправил мне, надавив большим пальцем, скошенную набок переносицу, как потом оказалось, недостаточно, и мучительная процедура повторилась. Это была наша школа Куйбышевского района столицы, там при входе, на постаменте из фанеры, выкрашенной под мрамор, алебастровый вождь отечески обнимал сидящую у него на коленях девочку Мамлакат, которая собрала неимоверное количество хлопка. Там учительница, которой не давали войти в класс, сидела за исчёрканным мелом столиком перед классом с партами улюлюкающих выродков, прикрывая глаза ладонью, чтобы не видели, как она плачет. Такова была наша школа, цапнуть бы за то место, где пах, где на большой перемене в коридоре тебя могли, подкравшись сзади, схватить и повалить на пол, окружить и делать с тобой все, что взбредёт в голову.

СЛУШАЙ, ДРУГ САЛЬЕРИ

Я заканчиваю свою жизнь банкротом, чему наглядным свидетельством служат тома моих произведений, не имевших успеха и не принёсших мне ни тени материального благополучия. Но в нескончаемые осенние ночи, когда одолевают чёрные мысли, ворочаешься и не находишь себе места в постылой постели, перед слезящимся окном и бессонным циферблатом, — я прибегаю к единственному утешению, пробегаю глазами некогда любимых Флобера и его дорогого Ги, либо перелистываю неподражаемого Хорхе Борхеса. Чего доброго, унижаюсь до того, что отыскиваю наугад в шкафу собственные, давно забытые изделия, читаю в тщеславной надежде вернуть себе крохи самоуважения. И вот, представьте себе, начинает порой казаться, что кое-что написано не так уж плохо!

Вот, например, странноватый рассказ под названием «Опровержение “Чёрного павлина”», вещь, которая нравилась Лоре, обыкновенно не жаловавшей мои писания. По её просьбе я читал вслух эту новеллу, когда, безнадежно больная, она лежала в той самой кровати, с которой я только что поднялся.

Помнится, мне понадобилось, чтобы заставить читателя поверить в никогда не существовавшую, изобретённую мною птицу, просмотреть орнитологическую литературу о семействе фазановых, о цейлонских подвидах *Pavo cristatus* и *nigropennis*, заодно и пополнить мои скудные сведения об острове, ныне именуемом Республикой Шри-Ланка, где, разумеется, я никогда не бывал. Изнурительные поиски Чёрного павлина заканчиваются тем, что путешественник попадает в деревню, осаждённую готовыми поглотить её джунглями, на исходе дня бредёт, не ведая пути, по едва различимой впотьмах тропе. «И чёрный павлин ночи распахнул надо мною свой усыпанный звёздами хвост».

Собственно, это была история поисков несуществующего, безуспешной погони за несбыточной мечтой, в переносном

смысле (согласно одному из возможных толкований) — за недоступной женщиной. И теперь, после стольких лет одиночества, мысленно повторяя совет Бомарше, преподанный пушкинским Сальери Моцарту, я ловлю ускользающий образ той, кто была для меня всем: женой, подругой, сестрой, матерью.

TAT TWAM ASI

Маленькая кукла, высеченная из куска соли, шла по дороге и вышла к берегу моря. Она никогда не видела моря, этой сверкающей на солнце, вечно волнующейся стихии, и спросила: что это такое?

Море ей ответило; подойди ближе, и узнаешь.

Кукла приблизилась и сунула осторожно руку в воду. Вынув руку, она воскликнула:

Что это? Ты отняло у меня палец!

Но зато, отвечало море, ты кое-что узнала.

Кукла всё дальше входила в море, вода смывала с неё крупинки соли, и когда от куклы ничего не осталось, она сказала:

Теперь я знаю. Море — это я!

Tat twam asi (Это — Ты). Завет индуизма.

ВЕЧНЫЙ ПОЛДЕНЬ

Из старых записей

Последняя и лучшая, как многие находят, книга стареющего Бунина — созданный в оккупированной Франции цикл ностальгических новелл «Тёмные аллеи» о любви, о юных девушках и зрелых женщинах.

В последнем, предсмертном рассказе Чехова говорится о девушке, которая гостит в усадьбе родственников. Ей скучно, она тяготится затхлым провинциальным существованием, не любит своего жениха и уезжает в столицу, к новой жизни.

Перечитывая «Стенографию конца века» Марка Харитонова, я набрёл на то место, где сказано, что любовь — единственная, чуть ли не каждому доступная возможность приобщиться хотя бы на мгновение к высшему единству мира. Я стар, много старше Чехова, ровесник позднего Бунина. Но и теперь мне слышится в этой дневниковой записи переключка с моими стародавними мыслями о юношеской влюблённости. Впоследствии она стало темой многих моих сочинений — романов, рассказов. Как и прежде, я считаю её чрезвычайно важной для литературы.

У меня есть рассказ, где мимоходом упоминается хранимая памятью девушка-конвоир в Бутырской тюрьме. Нет, конечно, какая могла быть тут влюблённость. Но вижу её как сейчас, в туго подпоясанной шинели, в зимней солдатской шапке над узлом волос, в гремучих сапогах, с пистолетом на бедре. Она сопровождала заключённых — не устаивая их взглядом — в тюремные прогулочные дворы, похожие на полотно Ван Гога. Вот бы узнать, что стало с этой девицей... Много лет спустя я раздвинул свой рассказ, получилось нечто вроде трактата о вечности.

Спрашивается, при чём тут приобщение к высшему единству. О чём речь? Решаюсь процитировать, слегка подправив, собственное произведение.

«Время, в какие бы метафоры его ни обрядить, поработает. Эти непрестанные попытки устоять, не слететь с вращающегося

круга. Стук колёс, уносящих в будущее, имя которому — смерть, грохот состава, который ведёт безглазый машинист. Но существует вечность. Есть переживание вечности, Вечного Настоящего. Пусть изредка, но посещает ослепительная догадка, что время — временно, и этой временности противостоит нечто пребывающее».

В романе Франсуа Мориака «Подросток былых времён» есть эпизод — возможно, воспоминание самого автора. Подросток увидел вышедшую из реки после купанья 11-летнюю девочку — «и мне стало ясно, что Бог существует».

Со своей стороны я думаю о другом почти сверхъестественном, под впечатлением мимолётной встречи, видении, которое осеняет чувством постижения платоновской идеи. Что же это было: порыв ветра, мгновенно вспыхнувшее желание обладать юной женщиной? Не думаю. Юношеская влюблённость, ещё не сознающая себя плотским влечением? Может быть — но и нечто иное: чувство вечности.

Блок:

Дали слепы, дни безгневны,
Облака плывут.
В теремах живут царевны.
Не живут — цветут.

В том-то и дело, что они живут вечно. Для них нет будущего, для них есть только одно настоящее. Я постиг этот хитроумный подвох времени, которое не уничтожает себя, как рельсы несущегося неведомо куда состава, как бегущие над крышей буквы световой рекламы, но попросту отступает, уступает место непреходящему настоящему; я это понял, когда увидел тебя всю, моя красавица, и твои губы всё ещё шевелились, как бы желая сказать: уходи, сюда нельзя, — я понял, что обрёл это утраченное, казалось бы, навсегда, сознание вечности. Ты стоишь, опустив руки, волосы упали тебе на глаза, и полдень длится без конца.

ЖИЗНЬ

В былые времена, в потустороннем пристанище снов, я вставал первым. Румяный Гелиос уже нахлёстывал лошадей, стоя между двумя крутящимися колёсами своей повозки, и целился из лука. Я шёл по пустынной улице, стараясь увернуться от стрел, булочная под фирменной вывеской придворного поставщика Hofpfistererei, уже была открыта, за прилавком ожидала покупателей белокурая пышнотелая продавщица, ещё дышащая ночной негой. Она знала меня, не спрашивая, тотчас упаковывала горячие булочки, полбуханки пахучего ржаного хлеба. Я вручал ей кошелёк, она сама вынимала мелочь, сколько нужно, и я плёлся с моей добычей домой. В кухне я готовил чай для Лоры, кофе для себя, разрезал и смазывал конфитюром булочки, раскладывал бутерброды. Моя жена, слегка заспанная, сияющая, как сама заря, в белом байковом халате выходила из коридора.

А бывало и так, что мы оба поднимались спозаранку, наскоро одевались и спускались в подземный гараж. Жена моя усаживалась за рулём, я рядом, и мы катили вдоль по Козима-штрассе, минуя Иоганнескирхен, по автобану в направлении Исманингена, сворачивали в узкий проезд, — всё путешествие до городского озера Ферингазее занимало пятнадцать минут.

Пустынное озеро на рассвете, гладкое и блестящее, как зеркало, под бледно-голубым безоблачным небом, стояло перед нами, слабый плеск смутил его молчание — несколько шагов по росистой траве, и я вхожу в воду Сердитый лебедь, хозяин этих мест, неспешно выплывает из прибрежных зарослей, где, вероятно, он провёл ночь. Яркий свет, голоса незваных гостей разбудили его.

Вслед за мной, ёжась и слабо вскрикивая от прохлады, Лора опасно вступает и уже через несколько минут заплывает так далеко, что я, в тревоге, с трудом различаю её резиновую шапочку. Солнце слепит глаза. Я плыву, отстав от неё, на большом расстоянии, мимо полуострова, который здесь почему-то считается островом. Остров нудистов. Там уже появились первые энтузиасты. Я

украдкой оглядываю туда мимоходом или, лучше сказать, мимо-
плавом, щурясь от блеска вод, зная заранее, что, лишившись оде-
жды, женщины теряют себя — свою тайну и привлекательность.

Мы возвращаемся, нас ждёт роскошный завтрак. Радость
жизни, которой учила меня подруга, исчезнувшая в пристанище
сновидений.

ДВОРЕЦ

Мне снилось — и мнится, так и было въявь, — будто я нахожусь во дворце, хожу из комнаты в комнату, слышу стук своих шагов, одну за другой открываю двери, и они захлопываются за мной. В гулких залах, в переплётках высоких окон сверкает солнце, никого нет. Лишь в одном месте со стула поднимается некто в служебной форме, вероятно, смотритель, наводит на меня вопрошительный взгляд, но я не могу объяснить, зачем я здесь, кого ищу, с кем разминуся.

Проснувшись, я смотрю на циферблат, сажусь в постели. Тотчас спохватываюсь, что время идёт, а я ничего не ответил человеку в форме, который уже хотел было меня выпроводить, так как близится время закрытия. Я послушно следую за смотрителем через анфиладу комнат. Мы входим в темноватый смотровой зал, здесь опять ни души. Нет, ни стульев для экскурсантов, ни экрана на задней стене. Оборачиваюсь; куда делся мой жогаый? В полутьме тлеет вполнакала люстра на потолке, тусклое освещение напоминает спальню, где, уходя, я не успел выключить ночник. Но на самом деле это, конечно, не спальня, лепесток огня чахнет в коптилке на столе, — лампа, с которой сняли стекло для экономии керосина. В чёрном окошке отражено ошеломлённое лицо подростка, похожее на лицо преступника, это я, пишущий эту страницу. подойти, что ли, подкрутить фитиль?.. Надо бы досмотреть сон, да не хочется вылезать из тёплой постели, а на дворе мороз, время военное, эвакуация, мне пятнадцать лет, и 22 дивизии врага, окоченевшие от холода немцы, окружены на подступах к Волге под Сталинградом.

Я сижу, задумавшись, с повисшей над тетрадкой дневника вставочкой со стальным пером — тоже обиходная принадлежность тех лет, — и вспоминаю, ведь будущее время можно пережить только во сне, — вспоминаю о том, как однажды ночью мне привиделось, будто я попал во дворец или музей и увидел там себя самого в сорок третьем году, и начинаю понимать, что грядущее не исчерпано, грядущее только начинается.

2012–2014

КОЕ-ЧТО О ПРОЗЕ

Мало что в искусстве значит меньше,
чем намерения автора.

Х.А. Борхес

1

Ночь за ночью без сна, предоставленный самому себе, я думаю о прошлом и будущем, о первой фразе, о знаках препинания, навязчивые мысли не дают отвлечься. Сознание внутренней тщеты и внешней ненужности моей работы не отпускает. Всё спит вокруг. Понемногу светлеет за окном, золотятся облака. Я поднимаюсь.

Я отдаю себе отчёт в том, что попытки объясниться, расшифровать суть и смысл собственного произведения чаще всего ни к чему не приводят — аргентинец прав. И всё же необходимость разобратся в своих намерениях заставляет художника искать оправдание — не столько перед воображаемым читателем, сколько перед самим собой. Попытки эти, однако, не бесплодны. Вырисовывается некая приватная философия прозы. Не избежать и соображений о Времени.

2

Как-то раз я написал критический разбор своего рассказа «Прибытие» (это только пример), сюжет которого — фантастическая встреча, минуя возраст, с самим собой — восходит к новелле «25 августа 1983 года» всё того же Хорхе Борхеса, который и сам, как известно, не отказывал себе в удовольствии комментировать собственные творения.

Некоторые из моих вещей как будто предполагают, что мы можем жить не только в трёх временах школьной грамматики, но и в некотором совокупном сверхвремени. В таком случае нам придётся признать, что для каждого из грамматических времён существует своё настоящее, своё прошлое и своё будущее, так что

мы можем вспоминать и мимолётное настоящее, и ушедшее прошлое, и несбывшееся будущее. Некоторое устройство, напоминающее машину времени Уэллса, встроенное в мозг, дало бы нам такую возможность. Принимаясь за свою прозу, повествователь убеждается в том, что его воспоминания — не совсем то, о чём он собирался рассказать. Скорее это судороги сбитой с толку памяти, которая вторгается в «сюжет», теряет нить, перепрыгивает, словно мятущийся луч, с места на место, короче, пренебрегает всякой последовательностью. В итоге от нормального повествования мало что остаётся, прошлое, каким его рисует себе рассказчик, всё меньше заслуживает доверия. Минувшее уносит с собой и свое будущее. Но с той же безответственностью, с какой своенравная память распоряжается прошлым, она справляется с будущим. Так рассказчик-баснослов вспоминает не прошлое, которого больше нет, а будущее, которого никогда не будет.

3

Прибавлю немного. Наша фантазия, вслед за памятью, освобождённой от оков, играет более важную роль в восприятии вещей, людей и событий, чем это кажется. Бытие вещей состоит в их возможностях. Мир, заряженный бесчисленными возможностями, обступает нас. Воображение удваивает, удесятеряет реальность. Фантазия извлекает из действительности её скрытые возможности, наугад переводит стрелки часов и переставляет дорожные указатели, подсказывает иной ритм происшествиям и другое направление поезду событий. Так были написаны повести «Светлояр» и «Помни о будущем». Фантазия насмехается над здравым смыслом и над читателем.

Сказанное влечёт за собой — для меня, по крайней мере — сдвиг художественного мышления. Приходится отказаться от того, что представлялось главной задачей литературы, — обуздания хаотической действительности. Художник, чьё дело — вносить порядок и гармонию в сумятицу и какофонию мира, вынужден усваивать новое мышление, которое следует назвать фасеточным или калейдоскопическим. Как прежде, он не смеет отступить в страхе перед жизнью. Но вера в лейбницианскую предустановленную гармонию вещей поколеблена. Вместо идеально стройного здания

художник видит перед собой обломки, которые нужно каким-то образом склеить. В этом, по-видимому, состоит новая задача и обновлённый смысл его работы: не потерять равновесия, взглянуть, как смотрят в разбитое зеркало, без страха и отвращения в лицо действительности. Итак, пусть эти замечания послужат извинением за все, пусть немногие, небылицы, которыми автор нашпиговал своё произведение.

4

Помни о будущем... Вот завет, который автору следовало бы оставить молодым читателям. Мне приходилось много раз писать о юности — моей и моего поколения. Юность не страшится будущего, этой тигриной пасти, дышащей зловонием. Некогда и мы были молоды. Мы не подозревали о том, что из чаши грядущих десятилетий за нами следят жёлтые очи плотоядного будущего. *Monstrum horrendum* Вергилия, «чудище обло, озорно, стозёвно» в переводе Василия Кирилловича Третьяковского, подстерегало нашу жизнь. Перечитывая свои писания, я нахожу, что по существу всё, что было мною сочинено, есть рассказ о прошлом, которое сожрано будущим. Останки недожёванного, объедки каннибальского пира — вот то, что сохранила память.

5

Проза, на мой пристрастный взгляд, должна удовлетворять двум главным требованиям. Назовём их так: красота и внутренняя дистанция.

Возможно, не я один обратил внимание на прискорбный факт: из критических статей, обзоров современной литературы и так далее исчез пароль философии искусства — красота. Внимание сосредоточено на содержании, точнее, на выглядывающих из текста актуальных общественно-политических проблемах, Качество прозы не интересует критика, который отдаёт предпочтение писателю — стилистическому инвалиду и равнодушен к редким свидетельствам абсолютного слуха в современной ему словесности.

Греческое слово *αμοιβία*, «безмузие», означало чуждость искусству, — эстетическую глухоту. Безмузыкальность — черта плохой литературы.

Нечто общее роднит мастеров прозы разных эпох: особый строй повествования. Этот неслышно звучащий строй есть музыка.

Искусство прозы обнаруживает внутреннюю близость словесной музыкальной композиции. Здесь нет речи о так называемой гладкописи, равно как и о поэтической, стиховой музыкальности, легко улавливаемой, проще определяемой. Музыка прозы тоньше, нюансированней, прихотливей. Очевидно, что критик должен уметь взглянуть на явления литературы глазами человека, не чуждого другим искусствам. Ориентация в мире музыки важна для собственно литературной критики, то есть для анализа литературы как таковой, — и, похоже, не столь необходима для критики социологической. Если верно, что музыка выражает всю полноту внутренней жизни человека — то есть на свой лад осуществляет высший проект литературы, — то это значит, что прикоснуться к истокам литературного творчества, заглянуть в тёмную глубину, где сплетаются корни словесности, музыки и философии, немислимо без знакомства с историей классической музыки; невозможно понять, как устроен роман, не ведая законов и правил компонирования симфонии — музыкального аналога европейского романа.

Совершенный стиль предполагает развитый вкус, верное чувство слова, экономное использование изобразительных средств, энергию и лаконизм фразировки, основательную выучку у классиков русского языка. Ритм фразы, обдуманное распределение ударений, звуковая завершённость абзаца, смена тональностей, диалектика борьбы и взаимного преодоления главной и побочной темы, несущие конструкции, которые, как поперечные балки, проходят через всё здание, выдерживают его тяжесть, — во всём проявляет себя музыкальная природа прозы.

Музыка, говорит Шопенгауэр, есть голос глубочайшей сущности мира. Музыкальные структуры — структуры бытия. Есть основания утверждать, что сходную задачу своими средствами выполняет художественная проза.

6

Ребёнок, занятый игрой, верит, что его игрушки — живые существа, готов считать ситуацию игры реальной действительностью и в то же время отстраняться от неё: поглощённый ею, он отдаёт се-

бе отчёт в том, что всё, что происходит, всё — понарошку: присущая детям трезвость отнюдь не лишает их способности фантазировать. Этому двойному дару соблюдать конвенцию игры и дистанцироваться от её законов, от неё самой, может позавидовать тот, кто посвятил себя высокой игре — художественной словесности. Внутренняя рефлексия, размышления писателя о себе как авторе, апелляция к собственному произведению внутри самого произведения — так что философствование в этом роде становится в свою очередь художественным приёмом и встраивается в мир романа, — авторская рефлексия, говорю я, по крайней мере, с появлением «Фальшивомонетчиков» Андре Жида стала чертой литературы минувшего и нынешнего веков.

Писатель Эдуард, персонаж и автор романа «Фальшивомонетчики», принадлежащего другому романисту, некоему А. Жиду, ведёт дневник, обсуждает собственную работу, анализирует поступки действующих лиц, с которыми, кстати, он лично знаком. Спустя несколько лет Жид сам выпустил «Дневник “Фальшивомонетчиков”». Двойная и даже тройная дистанция.

ПАРИЖ И ВСЁ НА СВЕТЕ

I

...Итак, я поселился «на Холме», à la Butte, как здесь говорят; когда вы бредёте от бульвара Клиши вверх по улице Лепик, мимо мясных, овощных, рыбных лавок, мимо выставки сыров, киоска с газетами всего мира, кондитерских, кафе, китайских ресторанчиков, по узкому тротуару, где теснится народ, но никто никого не толкает, где играют, сидя на корточках, дети, где какая-нибудь девушка вам улыбнётся, не думая о вас, где торчат такие же бездельники, как вы, где звучит стремительная речь, где журчит смех, — и дальше по улице дез-Аббесс, мимо кафе «Дюрер», мимо какого-то русского ресторана, мимо книжного магазина, где вам зачем-то понадобился «Le Disciple» забытого Поля Бурже и вы лавируете между стопками книг на полу, и вниз по дез-Аббесс, и снова вверх, и поворачиваете к Трём братьям, попадаете на маленькую площадь, к дому-пристанищу поэтов, художников и актёров со смешным названием Bateau-Lavoir, что можно перевести как Корабль-умывальник или Мостки для полоскания белья, — кто тут только не побывал, здесь ошивались Ван Донген, Хуан Гри, Модильяни и толстая муза Аполлинера Мари Лорансен, Пикассо писал здесь «Авиньонских барышень», — когда вы снова каким-то образом оказываетесь на улице Лепик, которая кружила следом за вами, и опять вверх, и опять вниз, — то кажется, что вы, как землемер К. до замка графа Вествест, никогда не доберётесь до Холма в собственном смысле, хоть и видите его над домами то там, то здесь, в перспективе тесной улочки, за купами деревьев, — и вот, наконец, остановка: крутая, с многими маршами лестница. Минут двадцать займёт последнее восхождение. Или вы можете встать в очередь перед фуникулёром. Или подойти вплотную по верхним улочкам Монмартра. Теперь она вся перед вами: полуроманская, полувизантийская, с белыми, круглыми, как сосцы, продолговатыми башнями-куполами церковь Святого Сердца, Sacré-Coeur. С крыши портала два всадника, король Людовик Святой с крестом и Жанна д'Арк с поднятым мечом, взирают на весь Париж.

II

О Париже сказано всё, как о любви — всё, что можно сказать; и в Париж приезжаешь, как будто возвращаешься к старой любви. Даже тот, кто окажется здесь впервые, почувствует, что он уже был здесь когда-то. В других городах ощущаешь себя пришельцем, гостем, паломником, туристом; в Копенгагене, волшебном городе, чувствуешь себя туристом; во Флоренции чувствуешь себя гостем. В Венецию приезжаешь, чтобы увидеть Пьяцетту в вечерней мгле, зыбкие воды и тусклые отблески дальних огней, и почти невидимую в темноте громаду Святой Марии Спасения по ту сторону Большого канала, проплыть, отдавая дань ритуалу, по ночным водам в чёрной лакированной гондоле, вспомнить всё, что было читано, слышано, увидено на экране, — и остаться гостем. В Чикаго, с его downtown, чья красота и величие превосходят воображение европейца, с огромным, как море, озером Мичиган, с молниями автострад, уносящихся к бесконечно далёкому горизонту за сплошными, во всю стену стёклами ночного затемнённого кафе на девяносто шестом этаже небоскрёба Хенкок, — говорят, оттуда видно четыре штата, — в Чикаго, хоть ты и бываешь там чаще, чем в Москве, остаёшься чужестранцем. И, покидая Венецию, покидая Чикаго, думаешь: когда-нибудь приеду снова. Простившись с Парижем, тотчас начинаешь скучать. Тосковать — по чему? Невозможно сказать. Да всё по тому же: по мрачной башне Сен-Жермен-де-Пре на перекрестке искусств и литературы, *carrefour des lettres et des arts*, как кто-то назвал его, — с недавних пор здесь красуется табличка: «Площадь Сартра и Симоны де Бовуар», славная чета сживала в кафе Флор, в двух шагах отсюда, — по вовсе не знаменитому маленькому кафе напротив старого дома на углу улиц Бюси и св. Григория Турского, где я прожил однажды шесть счастливых дней, куда заворачиваю каждый раз, каждый год. По набережным Левого берега, по шкафам, лоткам и стендам букинистов — кто только не рылся в них, — по Мосту искусств и Новому мосту, который на самом деле самый старый, ему без малого четыре века. В Париже мы все жили ещё прежде, чем там оказались. Что это: свойство парижского воздуха или заслуга французской литературы?

III

Париж не меняется — по крайней мере, так утверждает молва, — и не потому ли, что этот город, как никакой другой, наделён способностью принять тебя как своего. Не зря он был назван столицей девятнадцатого века, и, в самом деле, можно лишь удивляться тому, что всё в этом городе существует по сей день: и крутые крыши с мансардами, и дома без лифтов, и скрипучие лестницы, и окна до пола, наполовину забранные снаружи узорными решётками. Дешёвое барахло, вываленное из магазинов прямо под ноги прохожим, розы, попрошайки, старики на скамейках — всё как встарь, город давно смирился со своей ролью быть ночлежкой великих теней, огромным словарём цитат, и всё так же течёт Сена под мостом Мирабо, с которого некогда смотрел на воду поэт, дивясь тому, что всё ещё жив, и высоко вдали непременно Монмартр с сахарной головой Святого Сердца. Я прекрасно понимаю, что и то, о чём я говорю, — повторение сказанного тысячу раз.

Ах, поздно мы проторили сюда дорожку. В Париже нужно жить в юности. В Париж нужно приехать, чтобы сделать его органом своей души, а не только частью наскоро усвоенной культуры; нужно сделать так, чтобы всегда, как память о собственной жизни, стояли перед глазами эти мосты над рекой в солнечном тумане, эти дворцы и площади одна другой краше: Старый Париж — город архитектурных ансамблей, куда ни повернешь, повсюду эти изумительно продуманные, стройные, разумные и прихотливые свидетельства градостроительного гения, которые примиряют тебя с историей, заставляют верить, что труд поколений не пропадает даром.

В одном стихотворении Арагона говорится, что птицы, летящие в Африку из Северной Атлантики, опускаются, как на протянутую руку, на территорию Франции. Очертания страны напоминают ладонь. Франция открыта двум морям. О двух этнических фондах, образовавших нацию, кельтском и романском, писал Андре Зигфрид ещё каких-нибудь полвека назад. Сравните портрет нормандца Флобера — короткая шея, широкое мясистое лицо и вислые усы старого галла — с физиономией узколицего аскета с впалыми щеками, уроженца Бордо Франсуа Мориака, вы увидите два характерных французских типа. Но сего-

дня, глядя на толпу в парижском метро, где каждый четвёртый — выходец или сын выходцев из стран бывшего Французского Союза, потомок и представитель чёрного человечества, для которого не существовало Греции, Рима, Средневековья, Ренессанса, Нового времени, Революции, думаешь о том, что к двум фондам нужно добавить третий, африканский, что здесь происходит рождение новой цивилизации, о которой сегодня мы ничего не можем сказать, и городу предстоит разродиться ею и выдержать ее натиск.

IV

Бродить по городу, сидеть в парках, заглядывать «в вертепы чудные музеев» — после обеда. Зато с утра, проглотив завтрак (довольно скверный в сравнении с немецкими, австрийскими или заокеанскими гостиницами), мы поднимаемся к себе в номер, мы вперяемся в молочный экран. Не начать ли нам, братие, трудных повестей...

Увы, начинали не раз. Роберт Музиль жаловался, что у него в чернильнице асфальт вместо чернил, а в другом письме сравнивал себя с человеком, который пытается зашнуровать футбольный мяч размером больше, чем он сам, — а мячик меж тем всё раздувается. Нужно отдать себе внятный отчёт, в чём состоит задание. О чём мы, собственно, собираемся поведать миру? Похоже, что записывание мыслей о романе — суррогат самого романа. Графоманский зуд, порождённый страхом перед пустыней экрана.

Написать о том, как некто собрался писать грандиозный роман-панораму своего времени, вместо этого он пишет о том, как этот роман не удаётся. Ибо время ненавидит таких, как он. Написать роман о писателе-отщепенце.

Написать роман о сером, неинтересном человеке без имени, без биографии, без профессии, без семьи, о человеке, которого только так и можно назвать: некто. О субъекте, чья бесцветность оправдана лишь тем, что ему выпало стать свидетелем эпохи, враждебной всякому своеобразию, и когда, наконец, он взялся за дело, уселся за компьютер, — он остаётся тем же, кем был: песчинкой в песочных часах. Нет, мы не призваны на пир всеблагих, мы не зрители высоких зрелищ, куда там, — мутный вихрь увлёк нас

за собой, скажем спасибо родине, что удалось унести ноги, возблагодарим судьбу и злодейское государство за то, что они оставили нас в живых.

V

Говорят, роман умер. Умер как литературный жанр, опустился на дно, как Атлантида. Это утешает. Значит, дело не только в неудачливом сочинителе. Это даже не новость: покойник умирал не раз. Осип Манделъштам толковал о крушении человеческих биографий в эпоху великих социальных потрясений, что означало, по его мнению, крах европейского романа — «законченного в себе повествования о судьбе одного лица». Натали Саррот (спустя тридцать лет) объясняла, что персонажи классической прозы, пресловутые характеры, — это фикции: реальная человеческая личность неуловима, непредсказуема; судьба вымышленных героев, сюжет, интрига — всё это износилось до дыр; роман, каким мы его знали со времён поздней античности, изжил себя. «Вот почему, когда писатель задумывает рассказать какую-нибудь историю и представляет себе, с какой издёвкой взглянет на это читатель, — им овладевают сомнения, рука не поднимается, — нет, он решительно не в силах».

De te fabula narratur — сказано о нас с тобой, приятель.

И, однако, погребение не состоялось, и с тех пор панихиду по роману справляли ещё много раз.

Роман возрождается, как Феникс, в новом оперении, чтобы умереть в очередной раз. Роман умирает всякий раз после того, как появляется реформатор романа. Манделъштам объявил роман «Жан-Кристоф» последним произведением этого жанра; но Ромен Роллан не был новатором. Зато после Пруста стало в самом деле казаться, что писать романы больше невозможно. Андре Жид в «Фальшивомонетчиках» вновь поставил дальнейшее существование романа под сомнение. Вирджиния Вульф («Миссис Деллоуэй») ещё раз заставила серьёзно задуматься о жизнеспособности романного сочинительства. Автор «Улисса» подвёл под романом окончательную черту. Кафка сызнова закрыл роман. Музиль, оставшись в лабиринте один на один со своим романом-Минотавром, пал в единоборстве, но успел нанести роману смертельный удар.

Король умер — да здравствует король!

VI

Эпоха ставит сочинителя перед вызовом, а сочинитель дрожащим голосом бросает вызов «эпохе». Я подумал, что заметки «по поводу», может быть, столкнут с места мою работу. Писать о том, что проза не вытанцовывается, роман не даётся? Но ведь это означает, что где-то в неведомых далях его персонажи всё-таки живы и машут руками — то ли прощаются, то ли зовут к себе.

Отсюда, между прочим, вытекает, что роман в лучшем случае может состоять лишь из фрагментов. Что такое фрагмент (от *frango*, ломаю)? Обломок чего-то; нечто начатое и брошенное. Но вот появилась эстетика фрагмента, стилистика фрагмента, наконец, филология и даже философия фрагмента.

Это эпоха фрагментарного сочинительства. Это какие-то недописатели, они всё не дописывают. Мерное, последовательное повествование — достояние других времён, когда герой романа был субъектом исторического процесса. Сейчас он только объект истории.

Век миновал, «наш» век, — не хотели бы мы, недобитые жертвы, принадлежать этому гнусному веку! Но что было, то было, и, мнится, время подбить итог. Найти общий знаменатель, соединить диагоналями события, как соединяют линиями звёзды на карте неба. Пусть в действительности светила удалены друг от друга на огромные расстояния — для наблюдателя это созвездие, нечто целое. Скажут, что получается круг, называемый *petitio principii*: задавшись вопросом о характере эпохи, мы тем самым уже исходим из представления о целостной эпохе. Между тем ещё предстоит собрать её по кусочкам, как скелет ископаемого ящера, и Бог знает, получится ли что-нибудь путное из разрозненных обломков.

Самые разные события происходят в одно время, под общим знаком, но лишь годы спустя осеняет мысль о тайной перекличке, о взаимозависимости; эта зависимость кажется объективным фактом. На самом деле она представляет собой умозрительный конструкт. Но ведь именно так пишется летопись времени. Так скрепляются проволокой фрагменты черепных костей, кусочки рёбер и позвонки. Динозавр стоит на шатких фалангах исполинских конечностей. Выглядел ли он таким на самом деле?

VII

От памяти никуда не денешься. Гипертрофия памяти — старческий недуг наподобие гипертрофии предстательной железы. Молодость побеждает агрессию памяти, молодость, собственно, и есть победа над памятью, забвение — механизм защиты; мы молоды, покуда способны забывать. Но незаметно, неотвратимо наши окна покрываются копотью воспоминаний. Отложения памяти, как известно, накапливаются в мозгу. Старение — потеря способности забывать. Вот что это такое. Бессонница воспоминаний. Сидение без сна перед домашним экраном, на котором проплывают очертания материков под мурлыканье космической музыки. На самом деле перед глазами проплывают годы. Мы умираем, раздавленные этим бременем.

Но прежде мы успеваем заметить, что историей правит случай. словно великий Романист раздумывал, какой сюжетный ход ему избрать, и в конце концов хватался за что попало.

В каждом сюжете скрывается неисчислимое множество вариантов, и каждая страница, как и всякий день жизни, — перекрёсток многих дорог. Куда направиться? Почему отдано предпочтение этому варианту, а не другому? Невозможно отделаться от мысли, что самыми важными поворотами жизни мы обязаны случайности, и не то же ли совершается в истории? Рим (говорит Паскаль) постигла бы иная судьба, будь у царицы Клеопатры нос на полдюйма длиннее. Что мешало военному губернатору Иудеи вздёрнуть на позорный столб уголовного преступника Варавву, а Иисуса помиловать? Последующие века выглядели бы по-иному.

Стрелочник перевёл стрелку, и поезд послушно свернул на другой путь, и вот уже другой пейзаж бежит за окошком, другие станции, другие земли. Тот, кто, подобно историку, смотрит назад, видит много рельсовых путей, все они сходятся к одному единственному пути; но для того, кто смотрит вперёд, веер дорог не сужается, а раздвигается. Лишь одна из многих возможностей будет реализована. Однако и прошлое когда-то было будущим. Всякая история есть всего лишь осуществившийся вариант. Подчас вероятность случиться тому, что не случилось, была ничуть

не меньше того, что случилось. Так в старости женщина с сожалением вспоминает о претендентах на её руку, которым она отказала. Вместо этого вышла за какого-то сморчка. Так шахматист раздумывает над проигранной партией, вновь расставляет фигуры и переигрывает игру.

«Жизнь без начала и конца. Нас всех подстерегает случай...»

VIII

Гигантская тень нависла над русской литературой: тень Льва Толстого. Несчастливая уверенность в том, что жизнь нации бесконечно важнее, чем жизнь и участь отдельного человека, настолько велика, что побуждает сочинять народно-исторические эпопеи до сих пор.

Замысел кажется величественным, вдохновляет, окрыляет, а как дошло дело до исполнения... Медуза переливалась красками радуги, пока плыла в воде, стоит её выловить — комок бесцветной слизи.

Произведение, сказал Беньямин, — это посмертная маска замысла. (*Das Werk ist die Totenmaske der Konzeption.*)

Странно, что никто (по-видимому) не задумался всерьёз, отчего потерпела фиаско эпопея самого знаменитого прозаика наших дней. Замысел был пограндиозней «Войны и мира». Ответ как будто лежит на ладони: идеолог пожрал художника; писателя погребла лавина документального материала; приёмы письма и гротескный слог сделали прозу неудобочитаемой; оставаясь в веригах устарелой поэтики, романист спасовал перед областью действительности, запредельной его жизненному опыту. К этому можно добавить несколько частных неудач и прежде всего неумение создавать женские образы, пробный камень всякого беллетриста. Всё это так. И всё же коренная причина лежит глубже. Фатальной ошибкой была презумпция архаического жанра. Проект всеохватного эпоса, в котором судьба и поступки действующих лиц, будь то царь или крестьянин, купец или революционер, должны выглядеть как отражение истории, был заведомо обречён. Хочешь не хочешь, а роль персонажей становится функциональной. Им незачем оставаться живыми людьми, жить собственной

жизнью: они кого-то — или что-то — «представляют». От этой патриотической или антипатриотической роли — злополучной иллюстративности — им некуда деться. Многоосная музейная колесница с паровым котлом, неприспособленная для современных дорог и скоростей, ползла еле-еле и, наконец, стала. В который раз пришлось убедиться, что время монструозных эпопей прошло совершенно так же, как «умчался век эпических поэм».

IX

В третьей главе «Улисса» Стивен Дедалус произносит фразу, которую, должно быть, не раз повторял его создатель: «История — это кошмар, от которого я пытаюсь очнуться». Говорят, Джойс, узнав о начале Мировой войны, сказал: а как же мой роман?

Снова задаёшь себе вопрос, возможно ли связать то, что никак не связывается, найти волшебное уравнение литературы, соединить два времени, историческое и человеческое. Мы оказались в ситуации тотального отчуждения человека от истории. Никогда прежде зловещие призраки Политики, Нации, Державы, Славного Прошлого и как они там ещё называются — не вмешивались так беспардонно в жизнь каждого человека, не норовили сесть с ним за обеденный стол и улечься в его постель. Никогда человеческие ценности не были до такой степени девальвированы, никогда стоимость человеческой жизни не падала так низко. И, может быть, литература — единственное, что у нас осталось на обломках веры в исторический разум, литература, которая всё ещё отстаивает суверенность личности, литература, последний бастион человечности. Может быть, поэтому роман и остался в живых.

X

Итак, я приземлился в CDG. Аббревиатура, означающая: Шарль де Голль. Огромный аэропорт раскинулся на северо-востоке от города. До Монмартра не так уж далеко. Миновали ворота Ла-Шапель, свернули с бульвара маршала Нея к авеню Клиши, подъехали к устью сбегающей вниз узкой мощёной

улочки, таксист извлекает багаж из багажника. Пятнадцать шагов вверх по улице Толозе, пешком, чемодан на колёсиках, лептоп в сумке через плечо.

Просят извинения: только что съехал прежний постоялец, в номере ещё не прибрано. Выйдем на улицу в рассуждении закусить где-нибудь рядом. Весенний день, будничная суета, и чувство внезапного счастья от знакомого запаха дрянной кухни из подвальных окон соседнего дома. Счастья вернуться в Париж.

СИЛЬВАПЛАНА И ОТЕЛЬ ИСКУССТВ

1

Я не мог отдышаться от приступов кашля: днём и ночью хищная птица долбила своим клювом, терзала грудь. Мы последовали совету нашего доброго ангела, доктора Анны Гуцель, переменить места и отправились наугад в нашем опель-кадетт из Баварии через Австрийский Тироль в Швейцарию. Моя жена сидела за рулём. Дворник-стеклоочиститель метался, смывая воду, по лобовому стеклу, дождь и кашель сопровождали нас всю дорогу. Высота уже давала себя знать. Миновали долину Инна, об эту пору довольно бурного. Верхний Энгадин приветствовал вывесками на странноватом ретороманском языке.

Туристический сезон был позади. Санкт-Мориц обезлюдел в ожидании зимы. Пустынное Сильвапланское озеро под набухшими серыми облаками поблескивало сквозь заросли тусклым оловом. Что-то остановило нас, не хотелось оставаться здесь, развернулись и покатили, стараясь держаться берега. Миновали деревеньку Сильс-Мария, где обуреваемый безумными идеями Ницше сражался с головной болью и наступающей слепотой. Следующим пунктом была деревня под названием Сильваплана.

Машина затормозила перед крыльцом первой попавшейся гостиницы. В Rezeption круглощёкая и черноглазая со вздёрнутым носиком юной крестьянки барышня в просторной юбке, с корсажем и фартуком, стоя за стойкой, испуганно глядела на меня, приняв за тяжелобольного. Я давился от кашля, заказывая двуспальный номер.

Тень автора «Заратустры» и не покидала меня. Я вспомнил магазинчик в конце улицы Герцена, бывшей Большой Никитской, перед её впадением в площадь Никитских ворот; на прилавке лежал томик в твёрдом переплёте, «Рождение трагедии из духа музыки», издание 1912 года, перевод Рачинского, дореволюционная орфография.

Это было весёлое и суматошное время, кончилась война, мне было 17 лет. Я купил антикварную книгу по неправдоподобно низкой цене.

...Всё тогда находилось поблизости, в двух шагах от университета, где в тесных коридорах и комнатухах Старого здания Доменико Жиллярди помещался филологический факультет: и улица Герцена внизу под нашими окнами, по которой шёл, звеня и сворачивая направо от Манежа, трамвай, и книжная лавка, где дожидался покупатель «Рождение трагедии из духа музыки», и Большой зал консерватории с профилем Николая Рубинштейна над овалом сцены, и мраморные медальоны великих композиторов на стенах под глубокими окнами. Будущее стояло на пороге, как посыльный с цветами.

Всё происходило одновременно в ту приснопамятную осень первого послевоенного года, и было внове: классические языки, увлечение романтической философией автора «Мира как воли и представления», первое, триумфальное исполнение Полёта валькирий и Вступления к третьему действию «Лоэнгрин» в Большом зале... Так для меня возродилась триада Томаса Манна: Ницше, Вагнер, Шопенгауэр, музыка гармонического трезвучия и классический идеализм, так отворились ворота в германский и античный мир.

2

Мальчик в форменной курточке отвёл нас в номер. Утром в полупустом зале гостиничной столовой мы уселись вдвоём перед глыбами ароматного жёлто-маслянистого сыра, многоочитым омлетом, ломтями душистого хлеба, расписными кружками с горячим кофе, лицом к лицу с рослым длинноносым кофейником.

Покончив с завтраком, решили мы прогуляться. Вокруг по-прежнему ни души. Дождь, без устали моросивший которые сутки, словно бы решил передохнуть. Замечталась и злобная клювастая птица — чудом прекратился кашель. Моя жена недоверчиво поглядывала на белёсые облака. Я должен был её развлечь — как умел, — толковал о Ницше, вспомнил знаменитое «Бог умер» и, наконец, предложил послушать содержание ещё не написанной новеллы, которая до сих пор напоминает мне тот пасмурный день в Энгадине. Называлась она «Действо о Картафиле», перескажу её сейчас.

Cartaphilus — одно из имён легендарного иерусалимского сапожника Агасфера, иначе Вечного Жида. Это была якобы почерпнутая из рукописи XVI века история о том, как древний скиталец постучался к знаменитому астрологу и магу Агриппе Неттесгеймскому. Некогда Картафил, отказался помочь человеку с крестом, нести на себе орудие предстоящей казни. Иди, иди, сказал он Иисусу. На что Спаситель ответил: Я пойду, а ты будешь ходить по земле до той поры, пока Я не приду снова. С тех пор Агасфер, живое олицетворение еврейского народа, так и бродит, за пятнадцать веков превратился в древнего старца и безмерно устал от своего бессмертия.

Услыхав об удивительном изобретении Агриппы, хроноскопе, позволяющем видеть будущее, Вечный Жид явился просить чудодея открыть ему, когда наступит конец его скитаниям.

Мы брели вдоль берега, неподвижная гладь озера была того же цвета, что и жемчужно-серое небо над нами. Смеркалось. Я рассказывал...

Аппарат стоял в углу рабочего кабинета Агриппы — кристалл, подвешенный между двумя зеркалами. Хозяин предупредил гостя, что эксперимент опасен. Очутившись в будущем времени, испытуемый должен стать не только очевидцем, но и участником происходящего. Но старику кроме привычных издевательств терять было нечего. Вот, проворчал он, гонят и заушают меня везде. И в церквах меня проклинают, и собак на меня натравливают. А того не понимают, что я — единственный живой свидетель. Где доказательства, что ваш Христос существовал на самом деле? Нет таких доказательств! Я один из всех ныне живущих на земле видел его, живым, вот как тебя вижу.

Гость сидит перед волшебным прибором, кристалл оживает, теплится жёлтым светом, Картафил ничего не видит. Это потому, отвечает Агриппа, что ты сам — внутри кристалла. Старец что-то бормочет, раскачивается, не слышит вопросов учёного.

В этом месте тропинка, огибающая озеро, поворачивает. Двинулись дальше, по противоположному берегу. Отсюда открывается вид на деревню, шпиль кальвинистской церкви. Высоко вдали голубоватая цепь гор.

Опыт окончен, Картафил возвращается — откуда? Постепенно приходит в себя. Что он там увидел? Оказывается, Распятый выполнил своё обещание! Вечный Жидь вновь стал свидетелем — очевидцем грядущего Второго пришествия. Но не он один. Карта-

фил очутился в длинной очереди перед кирпичным зданием с длинной трубой. Охранники в чёрном подгоняли ко входу мужчин и женщин, и детей, и ветхих стариков, и матерей с младенцами на руках. Рядом с собой изумлённый Картафил замечает Того, кто влечил крест в Иерусалиме и обещал вернуться.

Ты бредишь, вскричал Агриппа. Или лжёшь Ты Его узнал? В самом деле Его увидел?

Как тебя вижу, отвечал Картафил.

И Он шёл вместе с вами? Этого не может быть.

Вместе с нами. В дом смерти.

Он не может умереть. Он Сын Божий!

Он сын нашего народа, возразил Агасфер.

Мы повернули обратно, но я не договорил. Рассказ, по замыслу автора, должен был закончиться тем, что Агасфер потребовал послать его назад в будущее. Вспыхивает кристалл. Комната заполнилась едким дымом. Тянет гарью. Это запах обгорелых костей. Агриппа фон Неттесгейм озирается. Никого нет. Пришелец исчез. Вечный Жид не вернулся, пришёл конец его скитаниям, он погиб, сгинул в газовой камере и сгорел со всеми в печах Освенцима, и судьбу шести миллионов его соплеменников разделил основатель религии любви и всепрощения. Двадцатый век подвёл черту. Рухнуло вместе с народом, породившим эту религию, и христианство.

3

По-прежнему безлюден за недостатком туристов скромный отель. Моя жена, удрученная рассказом, который ей не понравился, утомленная долгой прогулкой, непривычной высотой, раскладывает постель, укладывается и тотчас засыпает. Какое это было наслаждение лежать рядышком под тёплым одеялом, в тишине и неге, за тысячу вёрст от недоброго отечества, вдали от всего мира!

*

Обыкновенно, по прибытии в аэропорт CDG, что означает Шарль де Голль, садясь в машину, я называл шофёру малозначимую улицу Толозе. Таксист вёз меня на север, к холму, который римляне называли Марсовой горой, а монахи XII века — Монмартр. Предстояла трудная задача, оставив позади знакомые улицы Лепик, дез-Аббесс, Жозеф де Местр, мимо площади Бланш и бульвара Клиши, протиснуться к узенькой горбатой улочке Толозе.

Скучный, бесформенный и монотонный роман Генри Миллера «Тихие дни в Клиши» с первой же страницы, как обычно у этого автора, превращается в рекламу генитальной доблести сочинителя. Неоконченные воспоминания другого американца, Эрнеста Хемингуэя, о Париже его молодости, под удачно предложенным переводчицей названием «Праздник, который всегда с тобой» (взамен оригинального *A Moveable Feast*), лучше всего передают настроение неувядающего праздника, которое испытывал и я всякий раз, навещая город-светоч.

В те годы я останавливался в маленькой гостинице под громкой вывеской «Отель искусств», где меня знали. В девять утра я выходил из моего, всегда одного и того же номера 40 с окном, заглядывающим в колодец двора, спускался в бельэтаж, садился в столовой за столик с ожидавшим меня со стаканом апельсинового сока и завернутым в бумажную салфетку столовым прибором, перекидывался словечком с высоким и тощим, в белом одеянии, буфетчиком, цедил кофе из никелированного цилиндра, с тарелкой в руках совершал утренний обход разложенного напоказ провианта. Покончив с завтраком, возвращался в лифте с прикнопленным к стенке кабины плакатом Тулуз-Лотрека к себе в номер.

Наступало время утренней уборки; я просил чёрную горничную придти попозже. Я писал рассказ о волке — один из последних с тех пор, как остался без Лоры.

Фантазия должна опираться на реальность, чтобы получить право и привилегию преобразовать реальность. Волков я видел только в зоопарке. В рассказе мне нужны были убедительные детали, для чего понадобилось заблаговременно проштудировать специальную литературу.

Начало полумифологического произведения под названием «Сталь и плоть» я помню до сих пор и охотно цитирую.

«Не каждому дано понять, в чём его предназначение. Долгое время тот, о ком здесь пойдёт речь, жил так, как если бы смысл жизни состоял в ней самой: просто жить и производить потомство. Правда, он не слишком заботился о своих детях...»

И так далее.

О волке частью повествовал сам автор. Частью же рассказывал о себе вымышленный персонаж.

Он был волк-одиночка, вечный бродяга, красивый и надменный, который бросал своих подруг, предоставляя им заботиться о потомстве, и любил только свою мать. Некогда мать спасла его от

облавы, увела тайными тропами в непроходимые леса за большой рекой. Она научила его гордиться знатным происхождением, показывала ночные созвездия — небесное жилище предков, куда впоследствии переселилась и она.

Однажды случилось несчастье — волк попался в капкан. Была зима. В неопикуемых муках, после многих, тщетных попыток освободиться, он перегрыз лапу, застрявшую в стальных челюстях. Снег вокруг краснел от крови, разбросанный судорожными прыжками. Измученный пленник не сдавался. Последние силы были израсходованы. От нестерпимой боли и кровопотери волк потерял сознание. Наконец, он умер.

Из небытия явился ему призрак матери. Он очнулся. Ему казалось, что прошли годы. Солнце осветило верхушки деревьев, и тайга зазвенела птичьими голосами. Снег стаял, потекли ручьи. Земля под тремя лапами волка расступилась. Удалось выследить узкоглазого виновника его страданий. Прыгая, он осторожно приблизился к избе охотника. Дворовый пёс залился лаем. Хозяин в шубе и лисьем малахае вышел с двустволкой. Пёс бесновался: Стреляй в него! Волк не пошевелился. Он понимал плебейский диалект собак, этого племени рабов и предателей, он мог без труда расправиться с ними. Аристократ до мозга костей, он считал ниже своего достоинства вступать в драку. Охотник вскинул ружьё. Волк смотрел, не мигая, в дуло, наставленное на него. Прогремел выстрел. Здесь я поставил точку

Полдень, в Париже — время второго завтрака, для россиянина — обеденное; я выхожу из Отеля искусств, по шумной Лепик бреду в толпе к метро Бланш, в рассуждении чем бы подкрепиться у китайцев в квартале Бельвиль или в Рамбуто, в не слишком грозящей кошельку народной харчевне напротив Центра Помпиду.

Я оказался не один на опустевшей эспланаде перед диковинной громадой. Смуглая девушка-индеанка не знает, куда себя деть. Студентка из Колумбии, позабыла (как и я), что сегодня пятница, превосходная картинная галерея закрыта. Куда теперь? Глядит на меня вопросительно. Мне показалось, потянулась ко мне. То был минутный соблазн.

Я отправляюсь бродить...

«Париж, столица Девятнадцатого века». Вспомнилась мне фраза Вальтера Беньямина: в городе надо учиться не умению находить дорогу, а умению заблудиться.

Я оказался в Марэ, сажу на площади Вогезов в виду конной статуи Людовика XIII. Плетусь наугад по улице Тампль. Во дворе бывшей гостиницы Сент-Эньян за купами зелени прячется Музей искусства и истории иудаизма, куда вступают через хитроумно перегороженный вход с висячей камерой (мало ли что может случиться). Посредине двора капитан французской армии Альфред Дрейфус, стоя навытяжку, салютует обломком сабли.

Я намеревался подарить музейной библиотеке изящный томик в красной обложке с шахматным конём. Французское издание моей повести-притчи «Час короля». Вероятно, художник имел в виду сцену, где мой герой играет с приятелем и проигрывает партию. Король белых, шахматный монарх в мундире подшефного лейб-эскадрона, с жёлтой шестиугольной звездой на груди, размахивает деревянным мечом перед строем чёрных ландскнехтов.

Бродить, шататься по улицам любимого города — чего ещё можно желать в жизни?

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ГРЁЗЫ

(1)

Наклонись над струйкой, следи за тем, как вода вырывается из-под камня, скользит и вьётся, и вливается в озерцо. И, успокоившись, течёт между травами и корнями деревьев, по песчаному руслу. Проводи её глазами, покуда она не исчезнет из виду. Сколько времени понадобилось воде, чтобы пробиться сквозь толщу земли, отыскать трещину в окаменелостях далёкого прошлого, растворить в себе соль веков. Подумай о том, что твоя жизнь, единственная, замкнутая в себе, на самом деле только пробег ручейка от порога к другому порогу: не правда ли, мы не догадывались, что в нас продолжается подземный ток, что ты сам — бегущая вода. Из тёмных недр прорывается безмолвие голосов, так бывает во сне, так даёт о себе знать череда предков, ты понятия не имеешь о них. А между тем ты их продолжение. Ты весь составлен из подробностей, накопленных ими, ты их совокупный портрет. Ты сбрываешь рыжую, уже поседевшую щетину на щеках — её оставил тебе в наследство пращур, современник царя Давида, а ему — патриарх Иаков, тот, кто поцеловал у колодца смуглую девочку с тёмными сосками, с лоном, как ночь, и с тех пор чёрная и рыжая масть спорили в поколениях твоих предков. Ты вперяешься в молочный экран и раздумываешь над каждой фразой, лелешь и пестуешь язык, это потому, что твой согбенный прадед весь век вперялся в зеркальные строки квадратных букв с заусеницами и обожествил алфавит. Ты лежишь на пороге своего дома в Вормсе, в годину чумы, с проломленным черепом — тебя обвинили в распространении заразы. О тебе в Кишинёве сказал поэт: встань и пройди по городу резни, и тронь своей рукой присохший на стволах и камнях, и заборах остылый мозг и кровь комками; то — они. Их уличили в том, что они — это они, а не кто-нибудь другой. Ты в очереди перед газовой камерой, и рядом стоит твой соплеменник, босой пророк из Галилеи, царь иудейский, чтобы вместе со своей верой, которую он возвестил в Иерусалиме, со всеми вами вдох-

нуть циклон Б и сгореть в печах. Потому что заодно с теми, кого изгоняли и убивали из века в век за несогласие признать Иисуса Христа богом и, наконец, сожгли в печах, сгорело и христианство. Да, мы древний народ, мы поплавок, качающийся на поверхности взбаламученных вод, там, где на страшной глубине, занесённые илом, лежат целые цивилизации. И вот теперь ты остановился, тайный двойник, соглядатай, в зелёном лесу, и не можешь оторвать взгляд от родника — что стоит копнуть лопатой и засыпать его землёй!

(2)

Отчего я не возвращаюсь — как возвращаются в родные места на закате жизни? Перипатетики философствовали, гуляя в саду перед храмом ликейского Аполлона. Существует новая философия прогулок: по прямоугольнику каменного двора, парами, руки назад, не останавливаясь, не замедляя шаг. Существует философия мёртвых коридоров, гремучих ключей, цокающих сапог и прогулочных дворов высоко на крыше главного здания Государственной безопасности в Москве.

Отчего я не возвращаюсь... Можно привести дюжину доводов, нужны ли они? Там негде и не на что жить. Государство ограбило нас дочиста. Всё, что я сделал, все следы моего пребывания в России выскоблены. Я лишён пенсии, хотя работал всю жизнь. Моя жена лежит на мюнхенском кладбище. Куда я от неё поеду?

Меня в Москве может остановить на улице любой милиционер. Моё пухлое дело хранится в архивах тайной полиции и, может быть, ждёт своего часа. Скажут: времена изменились. Но кровавая гадина жива. Они, возразят мне, теперь этим не занимаются. Но я отравленный человек.

Ты русский писатель; не спорю. Писатель должен дышать воздухом реальной жизни. Какой жизни? Дышать воздухом российской действительности. Что такое действительность?

Есть реальность памяти, она могущественней минутных впечатлений, всего хаоса, что наваливается на гостя. Новая жизнь осыпается на другой же день, как мгновенно пожухнувшая листва. Ибо память не терпит поправок. Есть действительности души, только она по-настоящему реальна.

Толкуют о читателе. Но у меня нет или почти нет читателей в России. Мой русский язык непонятен. «Ни одного человека вокруг, — жалуется изгнанник Овидий, — кто сказал бы словечко по-латыни!». Мой язык — латынь. И уже не здесь, а на родине я был бы эмигрантом. Я русский писатель, но я не национальный писатель. Где я, там русская культура, да-с; но это не культура сегодняшней России.

(3)

Одному человеку приснился сон, чей-то голос сказал ему: поезжай в Прагу, увидишь там большую реку и мост, под мостом лежит сокровище. Человек продал имущество, долго ехал, приехал, но оказалось, что мост охраняется. Каждый день он приходил, садился и смотрел на мост, постепенно к нему привыкли, он познакомился с начальником стражи. Однажды начальник сказал: этой ночью я видел сон. Голос рассказывал о деревне, будто бы там стоит заброшенный дом, в подвале спрятано сокровище, и никто об этом не знает. Вот я и думаю, сказал начальник, не рвануть ли мне туда. А где это находится, спросил приезжий, и понял, что речь идёт о его деревне. Боясь, что его опередят, спешно отправился в обратный путь, на последние деньги добрался до места, оторвал доски, которыми крест-накрест была заколочена дверь его избы, спустился в подпол и нашёл сокровище.

(4)

Одному человеку приснился сон. Голос прошептал: бросай всё, поезжай в Прагу, там под мостом через Влтаву найдёшь сокровище. Он поехал, увидел мост, но дорогу ему преградила вооружённая стража. Он остался в городе, каждый день сидел у моста, сперва на него смотрели с подозрением, потом привыкли. Он познакомился с начальником стражи. Тот ему рассказал свой сон: будто бы где-то есть деревня, там стоит заколоченный дом, а в подвале лежит сокровище. Надо бы туда съездить, проговорил начальник, да нехорошо службу бросать. Крестьянин понял, о какой деревне идёт речь, вернулся, стал искать свой дом, но никакого дома уже не было.

АТОМНАЯ ТЕОРИЯ ВЕЧНОСТИ

1

Где же это было, когда? Слабое дуновение шевелило ажурный занавес, крупный шорох шагов, вкрадчивое постукивание каблуков по тротуару, голоса мужчин, смех женщин доносились через открытое окно первого этажа, доносилась жизнь, и всё это была Москва, город юности и детства, — та самая Москва, которой ныне нет и в помине, потонувшая, как Атлантида, в океане вечности.

В пятом веке до нашей эры фракийский грек Демокрит, которого некоторые считают предшественником российского еврея Георга Кантора, творца теории множеств, учил, что мир состоит из мельчайших неделимых частиц. Мы же в свою очередь можем сказать, что Вселенная памяти представляет собой континуум минимальных воспоминаний, — и вот он, один из таких атомов памяти: московский: летний вечер. Открытое настежь окно, колышущийся занавес, лукавый стук каблуков, обрывки фраз, женский смех, темнеющая прохлада нашего бывшего переулка между Чистыми прудами и Мясницкой, округа, от которой почти ничего теперь не осталось.

2

Я хотел бы вернуться, снова призвав на помощь пусть и не вполне надёжную память, — вернуться к обстоятельствам моей оттаявшей жизни, о которой только и можно сказать, что это была недвижимая, замороженная жизнь, говоря на языке звездословия — ночное прозябание в лучах Сатурна. Стояли пятидесятые годы, середина минувшего века. Как известно, век на шестой околосолнечной планете продолжается 3000 лет.

Назначенный охранять сооружения, на которые никто никогда не покушался, — продуктовый ларёк для вольнонаёмных, за-

куток с хозяйственными принадлежностями, сарай пожарной охраны, где за створами ворот стояла наготове, в хомуте и оглоблях, под дугой, взнузданная и впряжённая в повозку лошадь, — я расхаживал взад-вперёд по снежному насту вдоль запретной полосы мимо и рядов колючей проволоки, мимо увешанного лампочками глухого древнерусского тына из жердей в два человеческих роста, между угловыми вышками, обливавшими спящую жилую зону белыми струями прожекторов. Налево от крепости, в иссиня-чёрной пропасти неба мерцали ртутные звёзды вертикально стоявшей Большой Медведицы, над моей головой застыла сияющей точкой Полярная звезда. Я отыскивал ярчайшее украшение нашего северного неба, алмазный Юпитер, искал и не находил тусклое светило моей судьбы — Сатурн, семижды окольцованную планету лагерей.

Время от времени, основательно озябший, я заходил погреться в каморку бесконвойного пожарника, мужика католика родом из Галиции, иначе польской Западной Украины, старше меня вдвое, по имени Иустин. Он прислуживал в посёлке жене вечно пьяного начальника лагпункта, старшего лейтенанта Ничволоды, точнее, как говорили, спал с ней, выполнил почётное задание заколоть поросёнка и в награду получил сцеженную поросячью кровь и кишки. Иустин сидел перед горячей печкой и угощал меня кровяной колбасой, которую я никогда в жизни не ел. До конца моих дней не забуду её дивный запах и вкус.

3

Вскоре мне пришлось расстаться с добрым Иустином. Начальство, которому нечасто приходили в голову счастливые идеи, вновь подарило мне редкостную привилегию одиночества, назначив караулить лесосклад в сто пятом квартале.

По-прежнему, как расконвоированный малосрочник — всего восемь лет, — я протягивал дежурному надзирателю на вахте свой пропуск и выходил без конвоя за зону.

До склада было не так далеко, каких-нибудь десять километров. Приближаясь к объекту, я угадывал в темноте штабеля брёвен. Теперь нужно было запастись топливом — не слишком сырыми щепками, кольями и обрубками помельче, обрывками берёзовой коры для растопки.

Тысячелетия тянулись, я сидел у костра и думал о том, что моя жизнь, быть может, обретёт своё назначение и смысл, если когда-нибудь, через много лет, я о ней напишу.

Небо надо мной заволочлось, вот-вот должен был начаться снегопад. На затёкших от неподвижного сидения ногах я побрёл к сторожке, лёг на топчан. Частички памяти, как снежинки, закружились в засыпающем мозгу. И тотчас шевельнулась гардина, донеслось цоканье женских каблуков, я услышал смех и говор.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО ЯЗЫКА

На занятиях латынью приводился пример двойственности родительного падежа: *timor hostium*, страх врагов. Это может быть страх, внушаемый врагами, и страх, который испытывают сами враги. Таково предательство языка — словосочетание само по себе двусмысленное. Мы предаём язык, но можем сами стать жертвой его предательства. Я и мой язык — поочерёдно становимся по отношению друг к другу предателями.

С самого начала тень измены сопровождает тебя, едва только ты поддался соблазну писательства. Лъстишь себя надеждой овладеть языком. Жалкая иллюзия! Осознать себя, свою неповторимость, понять, кто это такой, тот, кто (как формулирует Ролан Барт), говорит о себе «я», чтобы облечь свои откровения в обманчивые одежды языка. «Искренность! — вздыхает двуликий персонаж Андре Жида, — что значит быть искренним?» Твоя литература, не правда ли, как женщина, облачаясь, разоблачает себя, одевается, чтобы казаться раздетой.

Но лишь такой ценой, соблюдая, а лучше сказать, навязывая тебе правила языковой игры, она обещает свою любовь. Только тогда литература выполнит своё высшее предназначение. И твоя душа, призрак без будущего, окажется, наконец, в вожденном потустороннем мире.

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К «ЗАПАХУ ЗВЕЗД»

Я решаюсь публиковать эту повесть, относящуюся к первым временам моей литературной работы, хорошо понимая, что её тема не вызовет интереса у сегодняшних читателей в России. Кому охота ворошить прошлое. Вопрос, однако, в том, удалось ли это прошлое отменить. «Запах звёзд» не есть обвинительный документ, повесть не ставила и не ставит перед собой задачу разоблачить кого-либо или что-либо. Она написана не ради того, чтобы заставить читателя задуматься, можно ли быть уверенным, что лагерь больше не возвратится. Но она притягивает на то, чтобы оживить кусок жизни, о которой принято говорить, — если кто-то вообще о ней помнит, — что она была и сплыла. Жизни, о которой всем хотелось бы думать как о более или менее случайном, проходящем эпизоде национальной истории.

Я не хочу здесь касаться вопроса, в какой мере лагерный образ жизни отвечал традициям страны, где крепостное право было отменено лишь каких-нибудь полтора-два столетия тому назад, чтобы возродиться при советской власти либо в форме колхозного строя, либо в той форме, о которой здесь идёт речь. На ум приходит фраза Толстого о том, что солдат, раненный в деле, думает, будто проиграна вся кампания. Человек, отведавший лагеря, скажут мне, уверен, что это и есть самое главное в жизни народа. Лагерный фольклор зафиксировал эту иллюзию, там считали, что на воле вообще никого уже не осталось. И всё же я думаю, что лагерь представляет собой нечто коренное в истории минувшего века. Лагерная цивилизация, какой бы архаичной она ни выглядела, как бы сильно ни напоминала не только времена Грозного или Петра, но чуть ли не Египет фараонов, — в такой же степени продолжение традиций, как и принадлежность модерна. Более того, цивилизация принудительного труда в её новейшем облике представляет собой достижение всемирно-исторического значения, которым — прошу принять мои слова всерьёз — поистине вправе гордиться наша страна.

Эта цивилизация не могла бы достичь такого размаха и совершенства в иных географических условиях. Обширность России, её воронкообразная, засасывающая география, словно созданная для того, чтобы превратить наше отечество в обетованную землю массового принудительного труда, этой новейшей реализации утопического (как считали) проекта Общего Дела на военно-дисциплинарных началах, о котором грезил Николай Фёдоров, — эта география, говорю я, позволила в глухой тайне свозить в лагерь, эшелон за эшелон, на протяжении полувека, десятки миллионов людей. Само собой, к ним нужно добавить и колоссальный аппарат сыска, и многоступенчатую бюрократию, и вооружённую охрану. В итоге труд заключённых преобразил страну, воздвиг города и прорыл каналы, проложил железные дороги и создал целые отрасли промышленности; концлагеря размножились повсеместно, а не только в отдалённых районах Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока; лагерь, как кромка леса на горизонте, стоял везде, маячил немой угрозой, и можно было бы сказать, пользуясь юнгианской терминологией, что архетип лагеря остался неистребим в коллективном бессознательном народа. Этим и объясняется настойчивое желание не дать ему вновь ожить в сознании.

Однако мы отвлеклись. Ведь никому из сидевших тогда, намертво забытых, наглухо засекреченных и как бы вовсе не существовавших, не приходило в голову, что они находятся на переднем крае национальной истории. Лагерь был новейшей модификацией подземного царства, а в аду, как известно, очень скучно.

ПОКОЛЕНИЕ

Что такое поколение? Нечто, вычленяемое из потока исторического времени. Искусственный конструкт, фрагмент истории, к которому применима сентенция Себастьяна Гафнера: «Историю сочиняют историки. История есть произведение литературы».

Время? Кто не помнит знаменитые и знаменательные слова, обронённые блаженным Августином? Знаю, говорит он (Исповедь, XI, 14), что это такое, но если меня спросят, не сумею ответить.

Так и ты. Не правда ли, отдаёшь себе отчёт в том, что источник и материал дилетантских размышлений о «поколении» — всего лишь личные воспоминания, социальная или дружеская среда, куда забросили тебя случай и год рождения, — то, что ты так живо чувствуешь, что ты пытался выразить в твоих сочинениях, — короче, то особое мироощущение, которое серьёзные историки называют «духом времени». Но, возродить и одушевить это канувшее в прошлое умонастроение они едва ли способны. Да и не ставят перед собою такой задачи.

Так что придётся, наконец, сознаться, что поколение, которому ты якобы принадлежал, чьим законным представителем себя считаешь, — есть не что иное как ты сам, твоё обобщённое прошлое.

Конечно, я отлично помню мелочи времени, — речь идёт о первых послевоенных годах, — мелочи, которые склеивали современников в единую массу, песенки, анекдоты, летучие неологизмы, сиюминутные речения, популярные имена, герои и героини экрана, наряды девушек, болтовню эстрадных конференсье, барабанный бой газет, уставших лгать самим себе («умру, — писал Эренбург, — вы вспомните газеты шорох...»), наконец культ Вождя-каннибала, принявший клинические формы массового помешательства, — всё помню наизусть, всё стоит перед глазами, звучит и плещется в ушах. Меня, однако, занимает та безвозвратно исчезнувшая атмосфера, которая, как облако нейропаралитического газа, всех нас накрыла, заполнила лёгкие, одурманила мозг,

атмосфера, о которой не смели, а чаще и не хотели поведать подневольные советские литераторы, рабы, пишущие для рабов, — летописцы и мемуаристы этой поры. Много позже редчайшим исключением оказался разве только Юрий Трифонов, — разумеется, не в «Студентах», — между тем как столь чуткий ко всему современному Илья Григорьевич Эренбург, кумир интеллигенции, прошедшей на смену поколению молодёжи, о коем речь, в своих прогневших воспоминаниях промолчал о главной, страшной черте эпохи, не обмолвившись ни словом о тайной полиции, о тюрьмах и лагерях, — грубо говоря, под видом панорамы времени создал великолепный и величественный фальсификат.

Невозможно говорить об обществе, породившем наше гипотетическое поколение, потому что никакого общества в Советском Союзе не было. Был «народ-победитель» — электрическая слава сияла над зданием Центрального универмага, — но победитель понёс такие потери, что последствия катастрофического урона ощущаются до сих пор, спустя полвека с лишком после окончания войны; такова была цена, заплаченная под водительством «величайшего полководца всех времён и народов» за спасение и возрождение режима.

Но ты собрался было говорить о поколении. Трудная тема! Шаткое, неверное слово, которое приходится брать в кавычки. В самом деле, кто такие были эти «мы», что такое наше или не наше поколение? Фантом, изобретение писателей. Впрочем, ты уже вещал об этом.

«Моё поколение» — это абстракция. Я привык считать себя закоренелым индивидуалистом. Я питаю глубокое недоверие ко всякому коллективизму. Ни с какой общественностью я ничего общего не имел и не испытывал к этому никакой охоты. Приведу ещё одну цитату. «Я поздно осознал свою принадлежность к поколению, даже как бы сопротивлялся чувству этой принадлежности». (М. Харионов, эссе «Родившийся в 37-м»).

Мне кажется, я мог бы подписаться под этими словами.

Толкуют о «нашей эпохе». Боже милостивый, какая эпоха? Рискуя впасть в неуместное острословие, можно сказать, что эпоха «эпох» в нашем отечестве попросту прекратилась. Нам остаётся вспоминать только о войне. Бывают такие страны, где история проваливается время от времени в яму.

И всё-таки! Нырять в омут минувшего, я принужден буду признать, что в самом деле принадлежал к тому сомнительному

«мы», которое за неимением нужного термина должен назвать поколением, — в данном случае, увы, всего лишь к поколению московской интеллигентной молодёжи ранних послевоенных лет. (Судьба пощадила меня: я достиг тогдашнего призывного возраста к концу войны.)

Поистине это было одинокое, неприкаянное и расплывлённое поколение, и не только потому, что всякое проявление, любая попытка сплотиться, группа единомышленников, дружеский кружок, немедленно привлекали внимание вездесущей тайной полиции, прослаивались доносчиками и заканчивались арестами. Но и потому, что мы были квази-поколением с начисто вытравленным инстинктом солидарности, воспитаны всеобщим страхом и вечной необходимостью быть на чеку, приучены к повсеместному подслушиванию и подглядыванию. Потому что мы угодили в расщелину истории. Всем нам было суждено жить и изживать нашу юность в гнуснейшую пору советского времени.

Сказать о нас, что мы, внуки мёртвящих тридцатых годов, дети военных лет, так и не сумевшие дозреть до того, чтобы стать поколением в полном и подлинном смысле, сказать, что мы не знали жизни, было бы и правдой, и неправдой. Нет, с реальностью повседневного существования в СССР, чудовищным бытом, нищетой, голодом, вечной нехваткой всего и т.д. и т.п., были мы очень даже знакомы, сталкивались весьма чувствительно и достаточно рано. Перед этими сиротливыми кулисами, наперекор всему, разыгрывалась трагикомедия нашей судьбы, ютилась по углам наша молодость, поколение одиночек, типичными чертами которого парадоксальным образом стали какая-то странная, всё ещё не преодолённая незрелость, застенчивость и стыдливость. Стороннего наблюдателя должно было поразить наше пуританство, воспитанное и внедрённое ханжеской полицейской моралью, невежество в вопросах пола, подростковый страх перед женской телесностью и полнейшее непонимание женской сексуальности у юношей, раз и навсегда заученная поза самообороны перед самой робкой мужской инициативой у девушек, какой-то духовный (да и физический) запор вкупе с неизбежным следствием подобного воспитания — обоудной скованностью и бесчисленными словесными табу... Короче, богатейший материал для фрейдистских умозаключений — в стране, где психоанализ был не просто запрещён, но чуть ли не приравнен к политической крамоле. Искалеченное поколение, вот кем мы были.

ЖАТВА

Итак по плодам их узнаете их
(Мф. 7:16)

Седьмого декабря 1917 года, вскоре после октябрьского переворота и захвата власти, вождь партии большевиков вручил одному из своих приближённых записку с проектом главного учреждения нового режима — Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. В ближайшие дни Дзержинский представил Ленину программу работы. В этом по-своему замечательном документе впервые появляется оксюморон «революционная законность». О появлении нового института госбезопасности сообщила газета «Известия» 10 (23) декабря 1917 года.

Так родились Органы, эти неумирающие тестикулы каннибальского режима, без которых наше государство непредставимо на всём протяжении его истории.

С годами тайная полиция переросла сама себя. Это была универсальная организация, выполнявшая и сыскные, и следственные, и псевдосудебные, и карательные функции, служившая одновременно инструментом тотального контроля и устрашения и рычагом экономики: уже в тридцатых годах стало ясно, что создание новых отраслей промышленности, добыча полезных ископаемых, освоение новых регионов, грандиозные стройки, неслыханная милитаризация, короче, всё то, что подразумевалось под строительством коммунизма, без системы принудительного труда невозможно. К жертвам террора присоединились сгинувшие в лагерях. В конечном счёте вся государственная машина в большей или меньшей степени оказалась в ведении тайной полиции. Такова была логика породившего её строя.

Урон, нанесённый народонаселению бывшей Российской империи и русской культуре тайной полицией, никогда не исчезавшей, обозначавшей себя разными, но синонимичными аббревиаци-

турами: ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, МВД, НКГБ, МГБ, КГБ, вплоть до нынешней ФСБ, не поддаётся учёту. Неисчислимо количество человеческих жертв, сопоставимое с потерями, причинёнными войной. Нет конца мартирологии выдающихся умов и дарований — писателей, поэтов, мыслителей, художников учёных. Страх, общественная кастрация, беспомощность, повсеместная слежка и доноительство деморализовали народ. Дыхание концлагерей, усеявших, словно сыпь, огромное тело безнадежно больной страны, надолго, если не навсегда, отравили наше отечество.

И что же?

Кровавая гадина оказалась бессмертной. Палачи пережили всё на свете: советскую власть, идеологию, партию, коммунизм — и благоденствуют. Поразительно, что перед лицом многолетних массовых злодеяний мы не слышали ни об одном судебном процессе. Никто не решился указать на бывших бонз преступного режима, напомнить прихлебателям этого режима, его идеологам и певцам, всем, кто танцевал с дьяволом, — *mitgettanzt*, по выражению Томаса Манна, — об их прошлом. Организация с неконтролируемым бюджетом, располагающая собственными вооружёнными силами, многоголовым штатом, не распущена.

Общественное мнение (если оно существует) разделилось. Кто-то толкует о пользе и необходимости контрразведки, разведки и пр. Эти доводы в нашем случае, перед кулисами источающего трупный запах прошлого, не заслуживают серьёзного обсуждения. Другие говорят: довольно об этом, слышали, и не раз. Забудем.

Так всё и остаётся. Площадь в сердце Москвы не распахана. Не снесена до основания, как некогда парижская Бастилия, зловещая цитадель, не уничтожен комплекс окруживших её зданий. Не раскрыты «оперативные дела» убитых, не обнародованы имена преступников — генералов, офицеров, следователей, прокуроров, провокаторов, оперуполномоченных и т.п. Не разобран и не вывезен куда-нибудь подальше мавзолей с его содержимым на центральной площади столицы, не выброшены на свалку калечащие пятисотлетнюю итальянскую зубчатую стену мемориальные доски с именами поганцев — «верных ленинцев». Всё остаётся по-прежнему — доколе?

MARCHE FUNÈBRE

F. Chopin, Piano Sonata No.2. Lento (III)

Словно завеса дождя, заслонив горизонт, висит перед нами наш век, наш минувший век; я спрашиваю себя, какое может быть будущее после такого прошлого. И тут на память приходит недавнее дикое происшествие. Неудивительно, что о нём предпочитают помалкивать.

Для тех, кто живёт вдали от России, сообщая, что у нас теперь демократия. Можно говорить, что хочешь. Можно критиковать власть — само собой, в дозволенных рамках. Можно ходить по улицам с плакатами. Для этого необходимо обратиться в Управление уличных шествий и митингов — так называется это учреждение. Об одном из таких шествий пойдёт речь.

Не обошлось без трудностей. Услыхав, кто собирается демонстрировать, должностные лица были несколько смущены. Обратились в Санитарно-эпидемиологическое управление, там ответили, что при условии соблюдения гигиенических мер — не возражают. А каких мер? Запросили Патриархат. Оттуда поступил неопределённый ответ: разумеется, церковь отстаивает тезис о бессмертии души, но, знаете ли... Особо щекотливый вопрос был, что скажет Государственная Безопасность, — не пахнет ли тут провокацией? Рассказывают, что один ответственный работник, погрозив пальцем, напомнил мудрую пословицу русского народа: кто старое помянет, тому глаз вон! Ему осторожно возразили, что подобное увещье демонстрантам как раз не грозит... Однако было бы чересчур утомительно рассказывать обо всех хлопотах, о хождении по инстанциям, поисках нужных знакомств.

Сговорились, что все участники соберутся на Волхонке, у храма Христа Спасителя. Напрасно прибывший на место князь церкви уговаривал собравшихся, помолясь Богу, вернуться восвояси. Пришло так много (несмотря на строгий отбор), что толпа запрудила окрестные улицы. Конная и пешая милиция, народная дружина, силы безопасности, отряд государственных громил оказались в за-

труднительном положении: применить силу по понятным причинам было слишком рискованно. Власти колебались; высшее руководство и сам правитель были вынуждены ограничиться умеренными указаниями; органы массовой информации получили наказ не освещать случившееся; агенты следили за тем, чтобы иностранные корреспонденты не затесались в толпу. Как водится, поползли дикие слухи, из которых самым замечательным (и, возможно, подсказанным сверху) был тот, что ничего такого вообще не было, а просто толпа собралась перед храмом по случаю дня Всех святых. Тем не менее весь центр столицы был оцеплён и прекратилось движение транспорта.

Со своей стороны, демонстранты проявили завидную дисциплину. Всё успокоилось; в молчании, по шестеро в ряд, с плакатами, портретами, иконами, колонна двинулась в сторону Моховой. Далее намеревались продефилировать по Охотному ряду, через Театральный проезд к зданию на Лубянке, бывшей площади Дзержинского, где должен был состояться митинг.

Было около десяти часов утра, стояла прекрасная погода. Нежной, как пух, зеленью успели покрыться деревья в Александровском саду. Парад возглавили полководцы. Впереди шагал маршал Тухачевский. Довоенный мундир без погон, с красными звездами в петлицах и орденами над левым карманом, болтался на его остоле, как на вешалке. Что-то вроде надменной усмешки мелькало в провалах глазниц; на череп, посеревший от времени, надвинут форменный картуз. За маршалом, гремя и хлябая в сапогах берцовыми костями, выступала когорта высших офицеров, героев гражданской войны, комкоров и командармов, с простреленными затылками, кто в боевой гимнастёрке, кто в полусгнившем лагерном бушлате, с привинченными орденами и нашитыми шеvronами. Предоставляем читателю вообразить во всех подробностях изумительное зрелище. Милиция, стоявшая шпалерами вдоль улиц, опасалась вмешаться, демонстранты могли рассыпаться, и как бы чего не вышло.

За военными шли писатели. Тут можно было угадать известных покойников. Маленький Осип Манделъштам, в длинном не по росту, перепачканном могильной жижей ватном одеянии, с трудом поспевал за шеренгой. Чётко, по-офицерски печатал шаг труп Гумилёва. Семенил, в очках на безносом лице, Исаак Бабель. Нарушая строй, двигались, приплясывая, с косами и серпами крестьянские поэты, за ними маршировали суровые проле-

тарии. И далее, насыщая воздух столицы запахами распада, шествовало молчаливое мёртвое многолюдье: остатки эксплуататорских классов, отбросы общества в профессорских шапчонках, в пенсне, с трудом держащихся на остатках носовой перегородки, кулацкие элементы в лаптях, священники в рясах, врачивредители, ортодоксы-ленинцы, левые и правые уклонисты, революционные евреи, монархисты с императором на палке, — ко-го тут только не было.

Некоторое замешательство произошло, когда приблизились к цели. Одни, как намечалось, правили к Лубянской площади — там уже готовились к встрече: говорят, все окна таинственной цитадели были заполнены бойцами невидимого фронта, побросавшими дела. К случившемуся, однако, отнеслись со всей серьёзностью: гранитные подъезды были забаррикадированы на случай штурма, в центре площади, на круглом постаменте бывшего Рыцаря революции устроено пулемётное гнездо. Другая часть демонстрантов, их было большинство, требовала изменить маршрут.

Следуя этому пожеланию, главнокомандующий повёл своё мёртвое войско через Кремлёвский проезд на главную площадь столицы. Мимо маршала Жукова (при виде марширующего Тухачевского каменный всадник отдал ему честь) к другому памятнику, воздвигнутому на месте снесённого мавзолея. (К сведению живущих за границей: автор памятника, славный зодчий Церетели отказался от традиционного решения. Вместо статуи Вождя на цоколе стоят изваянные из цхалтубского мрамора сапоги.) Туда же, естественно, перебазиrowались силы поддержания порядка.

Всё смолкло. Маршал, стоя на импровизированной трибуне, обвёл толпу безглазым взором, покосился на мраморные сапоги, приготовился открыть митинг. Прозвучал гнусаво-мелодичный перезвон курантов, вслед затем часы на древней башне отбили положенное число ударов. И тут случилось то, чего не могло не случиться: силы повиновения и порядка потеряли терпение. В новенькой униформе — прорезиненные куртки, травянистые порты, полусапоги с высокой шнуровкой, — расчищая путь автоматными очередями и дубинами, устремились вперёд маскированные бойцы-громилы особого назначения. От первого же удара продырявленный пулей наркома Ежова череп маршала Тухачевского (который в своё время и сам был не промах) развалился на крупные и мелкие фрагменты. Ещё удар дубиной — и из съехавшего мундира посыпались на по-

мост обломки рёбер, трубчатых костей и костей таза. На площади и в проездах процедура потребовала более продолжительного времени; подключились подразделения милиции, народные добровольцы и просто желающие размяться. Завершая операцию, на Красную площадь высадились национальные парашютисты. Трое суток подряд грузовики марки «Вольво Трак Файндер» вывозили за пределы столицы груды поломанных костей, ветхие рубища, остатки внутренних органов. Водоструйные машины смыли с брусчатки пятна мозга.

«ПРИБЫТИЕ»
Опыт критического разбора
(от автора)

Тема рассказа, который, по нашему мнению, принадлежит к относительно более удавшимся автору, — возвращение к собственному «я». Память, грезящая о прошлом, сны наяву делают возможным подобное возвращение. Но что значит вернуться к себе? Пояснением (или извинением) служит эпиграф: «Ты станешь мною и моим сном», слова из фантастической новеллы Борхеса «25 августа 1983 года». Можно предположить, что сюжет «Прибытия» навеян этой новеллой.

Ещё одна цитата, предвещающая текст, позволит нам оценить замысел автора — высказывание Лукино Висконти из интервью, которое великий кинорежиссёр дал незадолго до своей смерти в 1976 году:

«Я обращаюсь к прошлому, оттого что настоящее скучно и предсказуемо, а будущее пугает своей неизвестностью. Зато прошлое предрекает настоящее и, глядя в прошлое, мы, как в зеркале, можем увидеть черты сегодняшнего дня».

Обратимся к рассказу. Повествование ведётся от первого лица. Рассказчик, по-видимому, немолод и говорит о «болезни закатных лет» — способности жить одновременно в разных временах. Вначале мы узнаём, что поводом для рассказа послужил ответ из учреждения, куда автор-повествователь обращался с просьбой помочь ему разыскать некую Анну Ивановну Привалову. Означенной гражданки в архивах не оказалось. Похоже, её давно уже нет в живых. Но память об этой девушке жива в сознании автора, прошлое, по его словам, вцепилось в него, и его розыски, путешествия, которое он предпринимает, возвращают его в это прошлое, превращают из взрослого в подростка. Дальнейшее принимает ирреальный характер. Правильней будет назвать его сновидческим. Впрочем, действительность вторгается в повествование с первых же строк.

Только что началась война. Враг наступает, немецкие моторизованные дивизии почти вплотную приблизились к Москве. Город охвачен паникой. Вместе с названной матерью и младшим братиком, в жаркий июльский день подросток оказался на вокзале, толпа женщин с детьми, с домашним скарбом осаждает товарные вагоны. После многих часов пути эшелон с эвакуированными прибывает в Казань. Мальчик стоит у полуоткрытой раздвижной двери пульмановского вагона. Неведомое будущее, манит его к себе. Он спрыгивает на песок. Ему кричат что-то, он не внемлет, раздаётся пронзительный свисток, поезд трогается. Беглец не оглядывается, бродит по шпалам, наугад плутает по незнакомому городу. Он находит набережную и отыскивает речной порт. Вода бурлит за кормой теплохода «Алексей Стаханов», — кто теперь помнит шахтёра-передовика 30-х годов? Сновидец видит себя сидящим на палубе. Корабль плывёт вниз по Каме.

Продолжим нашу интерпретацию рассказа. Оказавшись, в ином пространстве, повествователь — не зря выше говорилось о существовании в разных временах — как будто позабыл о цели своего паломничества, которая незримо вела его на протяжении всего пути. И вот, наконец, прибыли. По шатким мосткам следом за пассажирами подросток выходит на дебаркадер пристани Красный Бор. Здесь всё знакомо. Он шагает по улице полурусского, полутатарского села. Вон там показалась бывшая школа, почта, где когда-то с замиранием сердца он опустил в ящик своё письмо, за ней районная библиотека. У Чехова в повести «Моя жизнь» говорится о библиотеке уездного городка, где сидят одни только молодые евреи. Так и он был в те годы единственным посетителем районной библиотеки. Путешественнику понадобилось не так много времени, чтобы, миновав райцентр, выйти на просёлочную дорогу.

Между тем (как и следовало ожидать) настала зима. Та самая зима рокового Сорок первого, когда спавший на печи русский Бог, проснувшись, принялся спешно выручать свой обездоленный народ и необычайно жестокие холода остановили наступательный марш завоевателя. Москва была спасена. А сейчас мальчик, влекомый всё той же целью, ни о чём не подозревая, в шапке-ушанке с опущенными наушниками, в непривычных горожанину валенках бредёт по санному тракту.

В морозной мгле вдали завиднелся больничный посёлок. Плотные белые дымы, похожие на выдавленную из тюбика зубную пасту (ещё, кстати сказать, не изобретённую) стоят над бараками. Здесь нашли пристанище названная мать и её дети — подросток-пасынок и малолетний сводный брат. Путник приближается. Неужто финиш? На мгновение ему почудилась закутанная в пуховый платок, ожидающая на крыльце женская фигура. Но нет, это не она. Миновав холодные сени, он рванул тяжёлую дверь, перешагнув высокий порог.

На кухне тепло, как в парной, пахнет хозяйственным мылом, таз с горячей водой стоит на табуретке. Маруся Гизатуллина, медицинская сестра, в рубашке, приспущенной до груди, с голыми икрами, в толстых вязаных носках на маленьких ступнях, моет голову, поворачивается навстречу незваному гостю; разумеется, она его узнала. «Закрывай дверь, дует!» Вид полубожажённой женщины — первое испытание, уготованное подростку. Но Маруся его не интересуется, он отводит взгляд, и вот её уже нет. В тесном закутке за печью и лежанкой, перед которой стоит шаткая деревянная лесенка, подросток находит дверь, там он живёт; впрочем, мачехи нет дома, она на дежурстве. Отворив, он видит их комнату: стол, огонёк коптилки, у стены кровать со спящим малышом, ещё одно ложе для себя... На столе учебники, библиотечные книжки, за столом, склонившись над тетрадкой — по-видимому, дневником, — сидит он сам.

Вот так. Если прошлое таило в себе будущее, то будущее заключает в себе и собственное прошлое. Когда-нибудь он привезёт в Москву свой дневник. Когда-нибудь напишет этот рассказ. В чёрном запотевшем окне отразился дрожащий язычок огня, отразилось ошеломлённое, словно застигнутое врасплох лицо преступника, его собственное лицо.

Гость, увидевший за столом самого себя, застыл в дверях. Мальчик воззрился на гостя. Оба не узнают друг друга — в чём нет ничего удивительного.

Не станем пересказывать их невнятный, спотыкающийся разговор. Кто из них настоящий? Подросток не понимает, что перед ним тот, кем он когда-нибудь будет. Зато пришелец догадывается, что за столом сидит тот, кем он был когда-то.

Неожиданно раздаётся слабый стук в дверь. Подросток поднимает голову. Гость из будущего рассказывает... Что было, что будет?

Нужно представить себе волнение девушки, впервые в жизни получившей влюблённое письмо. Кругом война. В районном центре, в окрестных деревнях мужчин почти не осталось. Одни бабы в больничном посёлке (она медицинская сестра, как и Маруся). Письмо написал юнец. Но как написал! Подобно тому как Татьяна в письме к Онегину переписывает французские романы, будущий писатель не убоился упрёка в плагиате, уснастив своё признание цитатами из русских классиков. Зимней ночью Нюра Привалова лежала без сна. В шубейке наброшенной на рубашку, в тёплом платке и валенках она стояла, парализованная сомнениями, на крыльце барака. Тишь и тайна объяли посёлок. Над её головой в чёрной прозелени неба сверкали ртутные звёзды вертикально стоящего Ковша. Продрогшая, она возвращается к себе, в тёплую постель, спрашивает себя, зачем ей понадобилось связываться с ребёнком. Но он уже не ребёнок. Сна по-прежнему ни в одном глазу, и всё та же щекочущая, сосущая мысль: а что если... Кругом всё спит. И она поднимается, натягивает шерстяные носки, суёт ноги в валенки.

Поёт, захлопывается, садясь в пазы, тяжёлая дверь. И кто-то робко стучится в комнату. И она входит. Язычок огня встрепенулся на столе. Будущее входит к подростку — Нюра, в шубке, наброшенной на плечи, придерживая воротник вокруг шеи, Нюра в блеске и красоте своих девятнадцати лет, в маленьких чёрных валенках, в платке, из под которого выбились русые пряди, осыпанные искрящимся инеем.

Рассказчик медлит, не зная, как описать дальнейшее. Девушка что-то лепечет, поглядывает на книжки: дескать, пришла попросить что-нибудь почитать. О письме — ни слова. Нервным движением она отбрасывает платок, поправить волосы. Пальто съехало на пол, она наклоняется — не для того ли, чтобы оказаться в рубашке? Нет, разумеется — ненароком. Да и холодно без пальто. Нечто помимо её воли, не спросив у рассудка, руководит её мыслями и движениями. Это задействован пол. Мальчик встаёт, как зачарованный, помочь ей, что ли, подхватить свалившуюся шубейку. Внезапно она — сама! — обнимает его. Больше невозможно откладывать то, чему суждено свершиться. Женщина садится на кровать, обнажаются её круглые, составленные вместе колени, поднимается рубашка. Женщина тянет его к себе, опускается на спину вместе с ним и, словно младенцу, даёт ему тёплую грудь.

Зима миновала, инициация и время превратили его в мужчину. Возобновилось судоходство на Каме. Прежней дорогой вниз по широкой реке до конечной пристани, до белокаменных стен невысокого казанского Кремля. В столице республики повествователь отыскивает архивное управление, где сведениями о гражданке Приваловой Анне Ивановне, как ему уже сообщали, не располагают. Сколько лет прошло! Ньюра умерла не менее пятидесяти лет тому назад. Каким-то образом удалось узнать о причине смерти. Прежде это называлось родильной горячкой.

ТРОИЦА, ИЛИ ВРЕМЯ

Сюита

Интродукция

Сижу, освещаемый сверху,
Я в комнате круглой моей...

...Сижу, твержу про себя дивную эту балладу и дерзостно представляю себя на месте другого изгнанника — Ходасевича. Комната моя, правда, прямоугольная, не круглая. Брезжит день, скучное утро сочится в окно. Голос радиодиктора, последние известия, всегда одни и те же. Прогноз погоды... Ну и что? Я жду своего часа. В десять — утренний концерт, Шуберт, Большая фортепьянная сонатаopus 916. Musik ist Zuflucht! Музыка — это убежище, от слова убежать. Zuflucht — от *zuflieden*, прибежать. Бежать из России, прибежать в другую страну. Музыка воплощает (и возвращает) ускользающий смысл существования, и — куда деваться? — дикая мечта вторгается в помрачённый ум.

Не странно ли, что вспоминается то, о чём помнить я не могу, хоть и уверяю себя, что так оно и было: молодая женщина, родившая меня, играла эти вещи. Она умерла тридцати трёх лет. От неё остался инструмент старинной германской фирмы, его давно нет, остались альбомы нот в твёрдых переплётках, исчерканные каракулями. Пианино моего детства, с двумя медными подсвечниками, с пожелтевшими, как старые зубы, клавишами, по которым и сейчас бегут её пальцы, а я сижу на полу и смотрю, как нога в туфле с застёгнутой перемычкой нажимает на педаль. Теперь она играет мне из Детского альбома Чайковского. Мой Лизочек так уж мал...

Могла ли моя мама представить себе, что когда-нибудь я стану коротать поздний вечер моей жизни в другом столетии, на другой земле? Узнаёт ли она меня, новоприбывшего, там, в садах за огненной рекой, о которых вспоминает поэт?.. С чем, с каким багажом явлюсь я туда? Унесу ли с собой, на себе увесистый груз памяти,

этот горб, мешавший мне распрямиться в земной юдоли? Тяжкой, как наш век, принудительной памяти, с которой приходилось доживать дни и ночи и которую следует противопоставить уютной непроизвольной памяти Пруста и девятнадцатого века.

Умолк Шуберт, умерший в таком же возрасте, как мама. Она закрывает крышку инструмента. Я всё ещё здесь, в нынешней мюнхенской комнате, над моей головой висит натюрморт парижского испанца Хуана Гри, шахматная доска, — репродукция, но однажды в Чикаго я наткнулся на подлинник в Art Institute. Напротив, на другой стене — старинная карта Российского государства — было когда-то такое. Оригинал, печать времени императрицы Анны Иоанновны, подарок покойного друга Гарри Просса, журналиста и политического историка послевоенной Германии. Рядом с музейной картой ещё кое-что.

Летом 1015 года по наущению старшего княжича, окаянного Святополка, были убиты дети Владимира Киевского, первые русские святые, братья Борис Ростовский и Глеб Муромский, и вот они, в княжеских шапках и плащах, верхом на танцующих конях, на лунно-серебристом, ночном фоне взамен золотой византийской вечности: икона московского письма XV века. А вот и другие — ветхозаветные ангелы: гости престарелой четы — Авраама и Сарры. Еврейские юноши, вечно-женственные, задумчивые, склоняют друг к другу пышные причёски. Живоначальная Троица Андрея Рублёва.

Бывшее будущее

Знакомцы давние, плоды мечты моей.

Пушкин

Длится, всё ещё длится угрюмое утро, самое тягостное время дня; в который раз я озираюсь в ожидании иных, законнейших обитателей моего жилья. Но вот они пробуждаются от электронного сна с первыми кликами компьютера,

Борхес (в одной из бесед) ссылается на Оскара Уайльда: «Каждое мгновение соединяет в себе то, чем мы были, и то, чем станем; мы — это наше прошлое и будущее одновременно».

У меня в мозгу вмонтирована уэллсовская машина времени. Это она даёт мне возможность жить в разных временах, перемещаться из настоящего в прошлое и возвращаться назад, в призрачную область надежд и ожиданий — будущее моей души. Я ничего не

жду, кроме финала. Машина эта есть не что иное, как безостановочно и своевольно работающая память, и её назначение перенимает литература.

Спрашиваёшь себя, не такова ли участь персонажей романиста, обречённых как все мы, жить и умереть, заброшенных в пучину воспоминаний и обманутых мороком несбывшегося будущего. Пытаясь подвести итог долгой жизни — обозревая литературную работу и в свою очередь погружаясь в прошлое, — я как будто разгуливаю по кладбищу моей прозы между надгробьями действующих лиц.

De te fabula narratur

(О тебе сказка сказывается)

Так — по крайней мере с тех пор, как родина стала чужбиной, а чужбина не сделалась родиной, — родилась потребность как бы с высоты птичьего полёта обозреть российское прошлое, взглянуть недоверчивым оком на свою взращённую этим прошлым литературу. Её, быть может, фундаментальный порок бросается в глаза: это слишком литературная литература. Чувствуется преувеличенное значение, придаваемое стилю, даёт себя знать еврейская озабоченность чистотой, прозрачностью, благозвучием русского языка. Наконец, эта специфическая эмигрантская заносчивость, едва ли не запальчивость, словно хотят уязвить оставшуюся «там» словесность с её вульгарностью, дурновкусием, инфекцией уличного жаргона, прирождённой немзыкальностью, точнее, «безмузием» (это я пытаюсь перевести античное *αιουσιον*), да мало ли чем можно её попрекнуть.

Et resurrexit

(И воскрес...)

Прав ли я, однако? Опасность этого запоздалого флорберианства очевидна. Скажут: старческий брюзжащий пуризм, потеря связи с реальной жизнью общества и самим обществом. И всё-таки веришь, утешаешь себя тем, что кое-что сделано, кое-что заслуживает сочувственного внимания: сосредоточенность на человеке, каков он есть, а не представляет некую социальную или национальную общность, интерес к его подлинной, прикровенной внутренней жизни, уважение к детству, величие отрочества, бремя юности, гипноз женской телесности. И тайная, с трудом скрываемая гордость то-

бою, одинокий художник, и сострадание — к кому же? К себе самому? — с усмешкой, порой презрительной, чтобы не сказать: безжалостной, одёргиваешь себя, ведь я давно привык отождествлять себя с ним, с тем, кто восстал из структуралистской смерти Автора и сейчас говорит о себе: «я», и перечитывает написанное.

De libris

(О книгах)

1

Pro captu lectoris habent sua fata libelli Terentianus Maurus

По разумению читателя своя судьба есть у книжек (*лат.*)

Теренциан Маур, II век н.э.

Память, чудный транспорт времени, снова переносит меня в Москву, в майские дни незабываемого Тысяча девятьсот сорок пятого, только что кончилась война. Я сижу за столиком, который ещё в детстве моём служил подставкой для швейной машины, и вперяюсь в магию фактуры, кудрявого готического шрифта. «О ничтожестве и страдании жизни», *Von der Nichtigkeit und dem Leiden des Lebens*, любимый параграф 46 второго тома трактата Шопенгауэра,

Поистине книги имеют свою судьбу — и верны своим читателям, и разделяют участь читателей. Два изящных томика в синих переплётках с золотым тиснёным факсимиле философа, автограф владельца книг с датой 1931. Текст пестрит подчёркиваниями — там и сям читатель останавливался и задумывался. Кем он был, этот неизвестный владелец? Не так давно он был жив. Но едва ли уцелел. Где-нибудь в Восточной Пруссии, в Мекленбурге, в Померании или Северном Бранденбурге находился его дом. Кто-то спас от бомб и огня его библиотеку. Книги, были реквизированы и свезены в числе других военных трофеев, чтобы найти приют в столице победителя на полках букинистического магазина, и куплены, и подарены семнадцатилетнему юнцу ко дню рождения. Прошло сорок лет. Мне стукнуло пятьдесят. Я должен был оставить недоброе своё отечество, накануне отъезда случайно познакомился с двумя туристами, совсем ещё юными студентами из Филадельфии. Про-

сил их сберечь, взять с собою за океан несколько моих немецких книг, Шопенгауэра, Новалиса. Книги отправились в изгнание — вторично, — а несколько времени спустя, в Мюнхене, я получил из местной еврейской общины извещение о том, что на моё имя прибыла из Израиля посылка... Книги вернулись в на свою родину. Думал ли я в тот голубой и солнечный майский день Сорок пятого, гадал ли, оправдает или опровергнет мрачные рацеи знаменитого пессимиста моя будущая жизнь?

2

Дом на Метростроевской, которую мой отец всё ещё называл Остоженкой, находился по соседству с палатами (как считалось) Малюты Скуратова, неподалёку от соборного храма Христа Спасителя, взорванного зимой 1931 года, и будущего исполинского Дворца Советов с фигурой вождя, которую должны были задевать облака. В детстве я сочинил стишок:

Стоит Дворец Советов.
На нём творец советов.

В войну разобрали готовый фундамент будто бы из предосторожности, дабы он не служил ориентиром для вражеских самолётов. Впоследствии огромный котлован был прикрыт фанерной кулисой с несбывшейся футуристической мечтой — изображением архитектурного монстра. Почти анекдотический образ несостоявшегося будущего. А на его месте, как все помнят, появился плавательный бассейн.

В этом доме на Остоженке, в нескольких шагах от Пречистенского, позднее Гоголевского, бульвара и станции метро «Дворец Советов» (ныне «Кропоткинской»), жила Ревекка Израилевна Новикова, тётя Рива, врач-стоматолог с собственным зубокабинетом, двоюродная тётка моего отца, мать Геры Новикова, тогда ещё школьника. Тётя Рива была упрямой и своевольной. Дочь раввина, она уехала против воли отца из родного белорусского местечка учиться в Варшаву, окончила там медицинский факультет. Она была женой таинственного и никогда не упоминаемого дяди Наума, журналиста газеты «Правда», которого в 1938 году люди НКВД разбудили однажды ночью и увели из дома, как оказалось—

навсегда. Тётя Рива ждала его долгие годы, добиваясь аудиенции у высоких чинов, узнавала от них, что её муж жив, где-то далеко работает и даже обзавёлся новой семьёй. Она скончалась после войны и уже после того, как я освободился из лагеря, но, умирая, всё ещё верила, что дядя Наум вернётся. В первые годы перестройки, в те короткие времена, когда кровавая гадина, как будто присмирив, разрешала родственникам ознакомиться с «делом», выяснилось, что отец Геры был расстрелян сразу же после ареста.

3

Мне было 14 лет, я жил в Татарской республике в эвакуации и вёл увлекательную литературную переписку с Герой. Сказано кем-то: *Chacun de nous a deux patries, la notre et la France*, у каждого из нас две родины: наша собственная и Франция. Гера был патриот Франции и поклонник французской литературы, которую считал самой богатой в мире, любил Илью Эренбурга, знал язык, от Геры я услышал имена дотоле мне неизвестные: Барбе д'Орвильи, Леконт де Лиль, Вилье де Лиль Адан, Эрнест Ренан, однажды получил от него большое письмо о Верхарне и его сборниках «Фламандки», «Вечера», «Разгромы», «Чёрные Факелы», с переводами Брюсова и самого Геры. От отца у Геры, сохранилась, как ни удивительно, богатая домашняя библиотека. Когда, вернувшись в Москву, я поступил в университет, он давал мне читать совершенно недоступные тогда книги «настоящего» Эренбурга «Виза времени», «Белый уголь, или слёзы Вертера», даже «Хулио Хуренито», некогда нашумевший роман Луи Селина «Путешествие на край ночи» с предисловием Бухарина и в переводе триолешки, как называла Ахматова даму с сомнительной репутацией — Эльзу Триоле. Были среди них и дореволюционные, изданные А.Ф. Марксом в переплётах красного сафьяна тома запретного Леонида Андреева, чьи повести и особенно пьесы произвели на меня сильнейшее впечатление.

4

Абсурд имеет свойство повторяться. Вспоминается — раз уж зашла речь о книгах и судьбе книг — изъятый у меня в конце 70-х роман. Вломились в квартиру на рассвете восемь мужиков, в том числе «понятые», актёры без речей. Отряд возглавлял сле-

дователь с университетским ромбом на лацкане пиджака, что имело большое значение. Во-первых, слуга закона — выпускник юридического факультета, поистине комического учреждения. Тайная полиция располагала собственной юриспруденцией, вроде того как океанский лайнер оснащён своей электростанцией, и сама для себя сочиняла законы; закон же в советском смысле представлял собой инструкцию, как надлежит творить беззаконие. Во-вторых, университетский значок давал понять, что и мы не лаптем щи хлебаем.

Руководил всей операцией заочно по моему домашнему телефону некто Смирнов, начальник следственного отдела московской прокуратуры — филиала КГБ. Велось дело о подпольном машинописном журнале «Евреи в СССР», которого автором и чем-то вроде литературного консультанта я состоял, Искали журнал, рассчитывали найти плёнки с материалами для переправки за границу, была развинчена стиральная машина, вскрыт письменный стол и так далее, пол усеян книгами, выкинутыми из шкафов. Но в целом улов был невелик: пишущая машинка, именуемая множительным аппаратом, та самая, воспетая Галичем гэдээровская Эрика, её опустили в большой мешок, с нею вместе антисоветская, хоть и написанная до революции, книга С.Ю.Франка «С нами Бог», секретная листовка на плохой бумаге «Ко всем заключённым нашего лагеря», о введении зачётов, далее самодельная, из обёрточной бумаги, тетрадка с моими лагерными литературными опытами. И то, и другое пролежало в шкафу 25 лет. И, наконец, — тут следователь почувствовал, что ударяет по самому больному месту, — рукописи недописанного романа. Я был весьма удручён этой потерей, написал небольшой текст «Памяти одной книги», по предложению друзей надиктовал на магнитофон — лента тоже пропала — проект-содержание погибшего шедевра, несколько месяцев вёл канцелярскую войну, писал протесты, заявления и т.п., мне даже — небывалый случай — вернули машинку. Всё это продолжалось до тех пор, пока не пришла официальная бумага о том, что рукопись передана для экспертизы в Главлит, роман признан антисоветским и *арестован* — как некогда его автор

Мой роман под новым названием «Антивремя» был написан, отчасти по памяти, заново и опубликован по-немецки в Мюнхене, по-французски в Париже, по-русски в Нью-Йорке, позднее в Москве и Санкт-Петербурге.

О ВЕЧНО-ЖЕНСТВЕННОМ

Знайτε же, Вечная Женственность ныне
В теле нетленном на землю идёт.

Вл. Соловьёв

1

Величайшим завоеванием античного ваяния стал подвиг жившего в IV веке до н.э. Праксителя — открытие женщины. Наследницы Афродиты Книдской, многообразные воплощения женственности населили искусство средиземноморской ойкумены: итальянские мадонны, византийские богородицы, Афродита Анадиомена, восставшая из морской пены, и вечно юная «Весна» Боттичелли, спящая Венера Тициана, загадочная Мона Лиза Леонардо, задумчивые крестьянки Веронезе из «Видения св. Бернарда», Ева Дюрера, Ева Блейка, обнажённая маха Гойи, призрачные, статуарно-безмолвные женщины Поля Дельво, танцовщицы и прачки Дега, ню Модильяни, смуглые, приглушённо-жгучие таитянки Гогена, эротические чудовища Виктора Браунера, пышнотельные модели Кустолиева, Ева Хайма Сутина, Ля Гулю и Жана Авриль Тулуз-Лотрека... И так далее...

2

Двумя символами женщины назовём Дом и Чашу. Кормящие сосцы, вместительная чаша бёдер — колыбель и врата жизни. Дом — прибежище и приют удручённых, замерзших, заблудших. У Бдока: «В густой траве пропадёшь с головой, в тихий дом войдешь не стучась. Обнимет рукой, оплетёт косой...»

Бывают женственные страны — такова наша Россия, влагилищная страна, с её умиряющей и умиротворённой, распростёртой

навстречу путнику природой, засасывающей и дарующей забвение. Широко раскинувшая свои плодоносные бёдра, бескрайняя Россия, где география поглотила историю, где, как сказано классиком, хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь.

3

У Гёте — тут опять без цитаты не обойдёшься: финал «Фауста», гимн мистического хора. *Das Ewig — Weibliche zieht uns hinan*. Вспомним и Вечную Женственность Владимира Соловьёва, и обеих богинь Платона, Уранос и Пандемос, небесную и площадную Афродиту, и спор Сократа и Диотимы о двуликном Эроте.

Вспомним эротику еврейской Каббалы, подвального деда, согбенного толкователя книги Зогар, персонаж моего старого романа «Нагльфар в океане времён». Позволим себе по этому поводу задать попутно два-три вопроса.

Были ли каббалистические фантазии о вселенском теле, повторяющем изгибы и возвышения тела человеческого, о первочеловеке Адаме Кадмоне, женщине и мужчине в едином теле, андрогине, бессильном произвести потомство, об усыплении Адама, которое, было не чем иным, как смертью, после чего Творец отказался от первоначального замысла и произвёл на свет нового человека в двух ипостасях. Что такое этот магический ребус Каббалы, буквы, самый рисунок которых намекает на связь с полом, так что, например, сходный с ключом или посохом, прямой вознёсшийся Вав означает мужское и мужественное начало, путь и отмыкание, а разверстый, похожий на вход Мем и горизонтальный Самех, буква, которую изображали трёхсторонней и которая в самом деле происходит от шумерского Треугольника, знака женщины? Чем оправдано возведение соития в мировое событие? Что здесь знак и что — обозначаемое? Почему постель представляется хрустальным ложем мира? Выясняется, что низменная действительность не равна самой себе. Еще вчера она казалась чем-то бесспорным и очевидным, сегодня — она лишь знак чего-то другого. Так пол становится снова загадкой и мерцает чем-то недосказанным; так странные и наивно-непристойные иносказания Каббалы превращаются в притчи о мироздании.

Героини моих сочинений... Годы изнурительного труда — а чем иным может быть литература? — научили, открыли простую истину: женский образ — это *experimentum crucis* писателя, решающее испытание. Выдержал ли я этот экзамен?

Тринадцатилетний подросток Люба из романа «Нагльфар в океане времён», колдунья, суккуб, совративший слабовольного красавца Анатолия Бахтырева на чердаке дома, уподобленного кораблю мертвецов скандинавской мифологии, там злая девочка становится любовницей Бахтырева и причиной его смерти. Пожилая дворянка, пережившая революцию и крушение старого мира, экс-баронесса Анна Яковлевна Тарнкаппе (роман «Вчерашняя вечность»), которая проживает в московской коммунальной квартире и учит мальчика, будущего создателя этого романа, французскому языку. Девушки-медсёстры в бывшей земской больнице русско-татарского села на Каме, полногрудая Нюра Привалова и худенькая черноглазая Маруся Гизатуллина в повести «Третье время», история полудетской любви и первого соединения с женщиной. Ольга Варфоломеевна, стремительно шагающая в летнем лёгком платье по московскому переулку, поражает, как удар током, своей красотой подростка, который становится её возлюбленным и покушается на самоубийство, когда она его покидает (повесть «Праматерь»). Дина, живущая в Париже одинокая девушка-калека, жертва абсурдной войны за какую-то мифическую национальную независимость; рассказ, озаглавленный цитатой из Аполлинера *Vienne la nuit* («Пусть ночь придёт»), заканчивается исчезновением Дины, неожиданно оставившей человека, который верно и самоотверженно служит ей и тщетно добивается её руки. Своевольная Нина Купцова, героиня одноимённого рассказа, дразнит одержимого страстью студента-медика и садистически мучает вот-вот готовой осуществиться близостью, но каждый раз ускользает и в конце концов умирает от ножевой раны, нанесённой неизвестным любовником... Прибавлю, что большая часть моих женских персонажей увидены, как это часто бывает, глазами мужчины, но некоторые из моих произведений — повесть «Русский путь», новелла «Клавир-соната опус 90» — написаны от имени женщины.

И так далее, и так далее...

ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. АЛЬБОМ

<i>От автора</i>	7
Нюра Привалова	7
Фая Кравец.....	10
Мира Николаева	12
Без имени.....	15
Фёкла Куроптева	17
Лида Лаврова	20
Наташа Артоболовская	25
Марья Ивановна	28
Алина Пуговкина.....	30
Люба Колодезная.....	32
Ира Вормзер	35
Тереза Шервашидзе.....	47
Её Высочество	49

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. РОДНИКИ И КАМНИ

Родословие.....	51
Родники и камни	57
Письмо к старой приятельнице, или Маленький трактат о любви.....	59
16 января 192*	66
Прибытие.....	72
Светлояр.....	81
Этюд и эхо.....	109

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГРЁЗЫ РОМАНИСТА

Пансофия, или Гармония мира.....	111
Грёзы романиста.....	113
Катастрофа	120
Шаги слепого в темноте	121
Кухня чародея	125

ТРЕВОГА И ТРУД

Московские древности	131
О дневнике.....	134
История псевдонима	135
Об одном литературном герое	136
Детство тридцатых	140
Слушай, друг Сальери	143
Tat twam asi.....	145
Вечный полдень.....	146
Жизнь	148
Дворец	150
Кое-что о прозе	151
Париж и всё на свете	156
Сильваплана и отель искусств	166
Генеалогические грёзы.....	173
Атомная теория вечности.....	176
Предательство языка	179
Из предисловия к «Запаху звезд».....	180
Поколение	182
Жатва.....	185
Marche funèbre.....	187
«Прибытие»	191
Троица, или Время	196
О вечно-женственном	203

Хазанов Борис
ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ

Главный редактор издательства *И. А. Савкин*

Дизайн обложки *И. Н. Граве*



Оригинал-макет *Б. Н. Марковский*

Корректор *Д. А. Потапова*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.

Издательство «Алетейя»,
192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.
Тел./факс: (812) 560-89-47

Редакция издательства «Алетейя»:
СПб, 9-ая Советская, д. 4, офис 304,
тел. (812) 577-48-72, aletheia92@mail.ru

Отдел продаж: fempro@yandex.ru, тел. (921) 951-98-99

www.aletheia.spb.ru

*Книги издательства «Алетейя» можно приобрести
в Москве:*

«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru
Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83
Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2.
Тел. (495) 915-27-97

Магазин «Фаланстер», Малый Гнездниковский пер., 12/27.
Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21

Магазин «Циолковский», ул. Б. Молчановка, 18. Тел. (495) 691-51-16
в Киеве:

«Книжный бум», книжный рынок «Петровка», ряд 62, место 8.
Тел. +38 067 273-50-10, group1111@mail.ru

в Минске:

«Экономпресс», ул. Толбухина, 11. Тел. +37 529 685-70-44, shop@literature.by
в Варшаве:

«Centrum Nauczania Języka Rosyjskiego»,
ul. Ptasia 4. Тел. (22) 826-17-36, szkola@jezykrosyjski.com.pl

Интернет-магазин: www.ozon.ru

Формат 60x88½. Усл. печ. л. 12,71. Печать цифровая.

Заказ № 0426368-16. Отпечатано в типографии
ООО "Супервэйв Групп". 193149, РФ, Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. Красная Заря, д. 15.



Борис Хазанов (псевдоним Г.М.Файбусовича), родился в Ленинграде, вырос в Москве. Учился в Московском университете, на последнем курсе филологического факультета был арестован, получил 8 лет по обвинению в антисоветской агитации, отбывал наказание в Унженском исправительно-трудовом лагере. Позднее окончил медицинский институт, работал врачом, кандидат медицинских наук. В связи с участием в Самиздате был вынужден покинуть Советский Союз и поселился в Германии. Автор романов, рассказов, эссеистических произведений. Многократно переводился на европейские языки, публиковался в России и за границей.

Премия «Литература в изгнании» (Гейдельберг), несколько премий Международного ПЕН-клуба, «Русская премия» (Москва), премия имени Марка Алданова (Нью-Йорк), шорт-лист премий «Русский Букер» и «Большая книга». Живет в Мюнхене.



foto: V.sch

Борис Хазанов (псевдоним Г.М.Файбусовича), родился в Ленинграде, вырос в Москве. Учился в Московском университете, на последнем курсе филологического факультета был арестован, получил 8 лет по обвинению в антисоветской агитации, отбывал наказание в Унженском исправительно-трудовом лагере. Позднее окончил медицинский институт, работал врачом, кандидат медицинских наук. В связи с участием в Самиздате был вынужден покинуть Советский Союз и поселился в Германии. Автор романов, рассказов, эссеистических произведений. Многократно переводился на европейские языки, публиковался в России и за границей.

Премия «Литература в изгнании» (Гейдельберг), несколько премий Международного ПЕН-клуба, «Русская премия» (Москва), премия имени Марка Алданова (Нью-Йорк), шорт-лист премий «Русский Букер» и «Большая книга». Живет в Мюнхене.

А л е т е й я

Зимнее солнцестояние

Борис ХАЗАНОВ



Борис ХАЗАНОВ

Зимнее солнцестояние

В издательстве «Алетейя» вышли в свет книги
Бориса Хазанова:

- Истинная история минувших времен.**
- К северу от будущего.** Романы и повести
- Третье время.** Романы и повести
- После нас потоп.** Романы и повести
- Вчерашняя вечность.** Повести и рассказы
- Опровержение Чёрного павлина.** Романы, повести, эссе
- Миф Россия.** Статьи и эссе
- Подвиг Искарюта.** Рассказы, статьи, письма
- В лучах чужих планет.** Рассказы, статьи, переводы
- ...Пиши, мой друг.** Переписка с Марком Харитоновым» (2 тт.)
- Элизиум теней.**
- Пусть ночь придет.** Повести о женщинах
- Человек-перо.** Писатели и литература
- Письма из прекрасного далёка.**
- В садах за огненной рекой.**
- Тревога и труд.**
- Праматерь.**

А л е т е й я